

A detailed historical illustration of a busy street scene in front of a grand classical building with a large dome. The scene is filled with people in 19th-century attire, horse-drawn carriages, and a marching band. The overall color palette is muted, with a light blue sky and a dark blue/black background at the bottom.

Йоахим Радкау

# ЭПОХА НЕРВОЗ- НОСТИ

*Германия  
от Бисмарка  
до Гитлера*

СЕРИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
КУЛЬТУРЫ

В Ы С Ш А Я Ш К О Л А Э К О Н О М И К И

Исследования культуры

Йоахим Радкау

**Эпоха нервозности. Германия  
от Бисмарка до Гитлера**

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)»

1998

УДК 930.85  
ББК 63.3-7

**Радкау Й.**

Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера /  
Й. Радкау — «Высшая Школа Экономики (ВШЭ)»,  
1998 — (Исследования культуры)

ISBN 978-5-7598-1321-7

Технический прогресс и сексуальная эмансипация модерна, опережавшие психические возможности человека XIX века, запустили в культуре «нервные» механизмы, которые выражали обостренное ощущение нового мира и требовали новых методов преодоления, оказавшихся в итоге столь разнообразными и во многом фатальными. В этом ключе именитый немецкий историк Йоахим Радкау предлагает вниманию читателей уникальную культурную историю нервов в Германии. Фундаментальное исследование раскрывает панораму грандиозной эпохи, в которой нервы определяли как молодой тогда раздел медицинской науки, так и повседневность человека. Опираясь на богатый архивный материал, Радкау детально прописывает и анамнез, и эпикриз последних 150 лет «нервного дискурса» и задается вопросом, что же есть эта пресловутая «болезнь нервов» – обусловленный переломными вехами истории культурный конструкт или истинный опыт страдания, преходящая мода или константа, индивидуальный или коллективный феномен? В поиске ответов книга предлагает увлекательную модель интерпретации политической, культурной и личностной истории. Книга адресована широкому кругу читателей – историкам, культурологам, политологам, социальным психологам.

УДК 930.85

ББК 63.3-7

ISBN 978-5-7598-1321-7

© Радкау Й., 1998  
© Высшая Школа Экономики  
(ВШЭ), 1998

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Вступительное слово   | 7  |
| Введение  | 12 |
| История гнета страданий, поиска смысла и войны  | 12 |
| I. Магистралы и перекрестки в истории нервов  | 16 |
| По следам высоких теорий – о нервозности модерна  | 16 |
| Карьера «нервов» как понятия  | 23 |
| Толстокожие люди и стеклянная гармоника: нервная слабость в эпоху чувствительности и романтизма | 28 |
| Кто первый: Бирд или Бисмарк? Неврастения как американская или немецкая болезнь                 | 39 |
| От слабости к возбудимости: метаморфозы и константы неврастении                                 | 48 |
| Конец ознакомительного фрагмента.   | 49 |

**Йоахим Радкау**  
**Эпоха нервозности. Германия**  
**от Бисмарка до Гитлера**

DAS ZEITALTER DER NERVOSITÄT

*Deutschland zwischen Bismarck und Hitler*

JOACHIM RADKAU

*Перевод с немецкого* НАТАЛИИ ШТИЛЬМАРК

*Составитель серии* ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

*Научный редактор* СЕРГЕЙ ТАШКЕНОВ

*Дизайн серии* ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

На обложке – фотография Берлина конца XIX – начала XX века <[https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Berlin\\_Neue\\_Wache\\_um\\_1900.jpg](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Berlin_Neue_Wache_um_1900.jpg)>

Перевод книги: *Joachim Radkau. Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler*

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики <<http://id.hse.ru>>

## Вступительное слово

*Нервная культура на свидании с прошлым и настоящим: Спираль истории и культура нервов.*

«[...] тут все нервные болезни назначили друг другу свидание...»<sup>1</sup> – писал Фридрих Ницше в конце 1880-х годов о молодом народном христианстве, но блестящая формула ставит подпись под целой немецкой эпохой – от Бисмарка до Гитлера.

Конечно, культурная история нервов, которую пишет Йохим Радкау, не ограничивается названными рамками и тем более не заканчивается – это диктует само понятие Истории, процессуальной и нескончаемой, по крайней мере до тех пор пока нервы не исчезнут из науки, из языка, из человека. Пока не исчезнут – вместе с самим человеком. И все же временные рамки очерчены удивительно четко: культурная история нервов начинается именно там, где тянущаяся из античности тень Меланхолии сменилась болезненным демоном нервности и растворилась (но не закончилась) там, где великое потрясение заставило говорить о другом. Если сегодня новая мода на «высокочувствительность» и «нервность» – всего лишь реабилитация прежней моды, только в новых условиях и декорациях<sup>2</sup>, то в эпоху раннего модерн дань «нервной» моде являлась реакцией на абсолютное новшество – невиданное, неслыханное и крайне удобное. Сложно представить, чтобы без двух столетий напряженного осмысления этого открытия – что «я есть нервы», – после паузы великого потрясения была возможна данная книга, равно как и многие другие в западной культуре. Почему?

Ответ кроется в исследовательском материале, к которому обратился Радкау, – в отдельных историях болезней ушедшей эпохи, и более того – в истории этих историй, которая незаметно, подспудно, но совершила переворот в картине мира человека и его повседневности – отдельные, частные, маленькие жизни оказались сильнее науки. Поэтому главный предмет, и метод, и цель труда Радкау – История.

Сегодня, говоря о «нервах», автоматически выстраиваешь логико-семантическую цепочку: «Проблемы с нервами? – Иди к невропатологу!»

И точно так же, когда говоришь о психике: «Проблемы с психикой? – Тебе к психиатру!» Конечно, так называемые психические расстройства и расстройства нервные следует разделять. И все же в культуре Германии и Австрии они традиционно (во многом благодаря грамматико-синтаксической специфике немецкого языка) идут рука об руку: как *Nerven- und Geisteskrankheiten*. Изначально, до становления соответствующих научных дисциплин, такого деления не было, а «нервно- и душевнобольные» долгое время шли рука об руку, да и сегодня они тоже несут один общий ярлык не-нормы. И, как наглядно показывает исследование Радкау, именно в пространстве культуры нельзя очень четко разводить психиатрию и, скажем, невропатологию. Поэтому история нервозности должна начинаться с истории сумасшествия.

История эта в Новое время была стремительной. Красивая традиция сложилась так, что ключевой момент в зарождении научного и культурного дискурса психиатрии и «грамотного», «дифференцированного» отношения к безумным принято легко и приятно сводить к элегантно жесту французского психиатра Филиппа Пинеля в знаменитых больницах Бисетр и Сальпетриер – жесту, увековеченному на замечательном полотне Тони Робер-Флери: «Филипп Пинель снимает цепи с больных» (1795). Да, это был действительно большой акт гуманности, заложивший основы психиатрии, – с безумных сняли кандалы, они получили новые условия

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. Воля к власти / пер. с нем. Е. Герцк и др. М., 2005. С. 123.

<sup>2</sup> Ср. на современном американском материале: *Стоссел С.* Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы и поиски душевного покоя. М., 2016.

существования. Как известно (спасибо Фуко), период 1650–1800 годов был эпохой административного ограничения сумасшедших: нерасчлененную массу «неразумных» интернируют, изолируют, запирают: «Исчезнет лепра, фигура прокаженного изгладится или почти изгладится из памяти людей – однако все эти структуры останутся неизменными»<sup>3</sup>. Лишь со сменой культурной парадигмы в конце XVIII века в сторону формирующейся концепции индивидуальности и сочувствия (Лессинг) безумец перестает восприниматься как «неразумное» животное – безумец попадает в поле зрения сочувствующего интереса Просвещения, безумец не виноват, безумие может настичь каждого. И когда категория «неизлечимых» распадется на категории «подлежащих призранию» и «потенциально излечимых», тогда и зародится психиатрия и Пинель снимет с больных оковы.

Однако, пишет Фуко, мало что изменилось: безумцев заперли в новых формах репрессии – психиатрических классификациях, на которых врач будет возводить свой особняк власти, ибо «[в]ластные отношения составляли априори психиатрической практики» и «основной предпосылкой этих властных связей было абсолютное правовое преимущество не-безумия над безумием. Преимущество, которое выражалось в терминах знания, действующего на незнание, [...] нормальности, воцаряющейся над расстройством и отклонением»<sup>4</sup>. Такая оптика присуща всей истории психиатрии или же невропатологии. Два совершенно разных и случайных примера из Германии и Франции наглядно демонстрируют эту позицию – как предысторию того «нервного» дискурса, «археологией» которого занялся Радкау.

Первый пример: знаменитая книга немецкого писателя Христиана Генриха Шписа «Биографии безумцев» (1796), за основу которой он взял реальные жизненные истории, разбавив их вымыслом. Изображение сумасшедших целиком заглушается аукториальной манерой рассказчика (иного не допускала и сама поэтика его эпохи), который смотрит на сумасшедших (а они и были-то всего лишь, как сказали бы потом, продуктом своих страстей и нервов) и их истории с позиции сочувствующего «разума» наблюдателя: «Безумие ужасно, но еще ужаснее то, что так легко самому пасть его жертвой. [...] Повествуя Вам о биографиях этих несчастных, я не только хочу пробудить в Вас сочувствие, но и наглядно доказать, что всякий – сам хозяин своего несчастья, а значит, в нашей власти – подобного несчастья избежать»<sup>5</sup>.

И второй пример: знаменитый французский психиатр Жан-Мартен Шарко, учитель Фрейда, основатель одного из учений о неврастении, любитель гипноза и создатель «душа Шарко». На своих лекциях по вторникам и пятницам Шарко в буквальном смысле демонстрировал истерию, принципиально исходя из изображаемое™ симптомов: «Я дам Вам почувствовать эту боль, я дам Вам увидеть ее свойства. Как? Тем, что я покажу Вам пятерых больных»<sup>6</sup>. Далее начиналась *игра*: появлялась девушка, искусственным образом воспроизводила симптомы истерии под комментарии и объяснения дирижирующего всем действием врача. Истерия получала драматичную театральность, *показывая себя*, ситуация в целом превращалась в перформативный акт, увековеченный на полотне Андре Брюйе (1887).

Что объединяет оба примера? Конечно: аукториальность, позиция власти и решающее слово дирижера. Будь то герои книги Шписа, или фиктивные пациентки Шарко, их проблема, равно как и проблема всех больных в классической медицине, одна – будь то серьезное психическое расстройство или легкая нервная дилемма – *их не слышно*. Сумасшедшие, нервные, все выступают «*немыми* носителями знаков»<sup>7</sup>. Рассказчик, врач, все отнимают у героя его слово,

<sup>3</sup> Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М., 2010. С. 15.

<sup>4</sup> Фуко М. Психиатрическая власть. СПб., 2007. С. 408–409.

<sup>5</sup> Spieß C.H. Biographien der Wahnsinnigen. Berlin, 1966. S. 7.

<sup>6</sup> Цит. по: Raiser M. Das Subjekt der Normalität. Das Wissensarchiv der Psychiatrie: Kulturen der Krankheit um 1900. München, 2010. S. 40.

<sup>7</sup> Raiser M. Das Subjekt der Normalität. Das Wissensarchiv der Psychiatrie: Kulturen der Krankheit um 1900. München, 2010. S. 25.

голос, лишают его «дееспособности», права говорить и рассказывать свое страдание самому – так, что в итоге психиатрия оказывается «монологом разума над безумием»<sup>8</sup>, а «вся действительность [пациента] сконцентрирована во внешней воле – во всемогущей воле врача»<sup>9</sup>.

Поворот от такого семиотического обращения с больными к нарративным техникам коммуникации открывает в этой истории совершенно иные стороны. И собственно здесь рождается сама возможность исследования Радкау – жанр истории болезни.

Великая заслуга здесь вовсе не за психиатрией, а за писателем Карлом-Филипом Морицем, который еще до того, как родилась психиатрия, в 1783 году основал журнал экспериментальной психологии «Gnothi sauton!» («Познай себя!») и собирал для него истории, трогательные и прежде всего необычные, истории отклонений и необычных явлений душевной жизни человека. Свои частные истории ему присылали живые люди – таким образом, впервые больной или мучимый своим состоянием субъект обрел возможность говорить и рассказывать свою историю от своего же лица. К этому и призывал Мориц: «Пусть же заговорят безумные, пусть каждый в этом состоянии беспорядка заговорит лишь тем языком, который он выучил, – каждый выскребет обратно на свет мысли, которые он когда-то подумал, пусть даже и лишь однажды, но сразу отбросил их от себя»<sup>10 11</sup>. Посредством истории больной возвращал себе дееспособность. Неспроста в немецком языке в корне этого слова (*mündig*) лежит «рот» – *Mund*. Ему больше не требуется «опекун», чтобы рассказать его историю, он становится «речеспособным» – *sprachmündig*<sup>11</sup>. Больной получает возможность быть услышанным. И его слышит широкая публика.

Сам жанр клинической истории оказался в силу своей схожести с жанром новеллы необычайно популярным – как в медицине, так и среди читающих масс, чей интерес подогревался и пикантностью, ужасностью, удивительностью, содержащейся во всякой истории. Это объясняет и феноменальную популярность главного сборника таких историй – «Половой психопатии» Рихарда фон Крафт-Эбинга, своеобразной «Тысячи и одной ночи» сексуальной патологии, даром он пытался скрыть волнующие подробности за латинскими терминами. А истории, описанные Фрейдом, которые он и сам открыто сравнивал с новеллами, были сконструированы уже настолько искусно, что читались как детективы. Так все эти голоса и частные жизни проникли в общественность и культуру, так складывался тот самый повсеместный нервный дискурс, о котором идет речь, и он отделялся от дискурса безумия, не менее мощного, хоть и более быстротечного. Но это уже другая история.

Разделила их в существенной мере сама наука в процессе собственной дифференциации и определения себя и своего предмета. Разделила терминологией. Отправной точкой в истории называния болезненных состояний, при которых не страдала человеческая «материя», могла стать, конечно, только душа – *Seele*, – отсюда возникли и недуги, и болезни, и мир, которые по сути были психическими, но назывались «душевыми»: *Seelenleben*, *Seelenleiden*, *Seelenkrankheit*; и, соответственно, одним из первых имен самой психиатрии было *Seelenheilkunde* – буквально «умение исцелять душу». А раз появляется понятие болезни, то в игру вынуждена вступить медицина, уже обладающая статусом научного мероприятия, для которого душа семантически перегружена, размыта и, говоря откровенно, сентиментальна. Тогда обратились к понятию *Geist* – дух, так как это уже категория, прижившаяся в философии, пусть статус ее как науки сомнителен, но она выстраивает явления объективного и субъективного мира в систему и пытается их трактовать. Так страдание души в процессе самоутверждения психиатрии как науки перешло в болезнь духа – *Geisteskrankheit*, хотя суть осталась преж-

---

<sup>8</sup> Foucault M. Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt am Main, 2015. S. 8.

<sup>9</sup> Фуко М. Психиатрическая власть. СПб., 2007. С. 174.

<sup>10</sup> Moritz C.-R. Gnothi sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Bd. 3. Berlin, 1785. S. 118.

<sup>11</sup> См.: Ralser M. Op. cit. S. 18, 25.

ней. Но и *Geist* – слишком абстрактно, ибо философично, поэтому лучше психика – *Psyche* – да, тоже абстрактно, но уже конкретнее, так как заимствовано из языка академических кругов. Наконец, болезнь стала психической: *psychische Krankheit*. Почему же лучше всего прижились именно «нервы»? Вероятно, не только потому, что нервные расстройства в обществе превосходят психические количественно. Как кажется, нервы давали больше ощущения некой материальности, нервы были ближе к телу человека, которое он ощущает постоянно, за нервы легче зацепиться, чем за непонятную ученую психику, абстрактный дух, не говоря уже о совершенно эфемерной душе. Нервы оказались ближе к повседневности.

Более того, «нервы» стали стремительно (как и слово «быстро», *schnell*) проникать в ткань языка, поселяться в его плоти. Сам немецкий язык стал приучать своих носителей к нервам как к чему-то повседневному. Так, нервная система называлась *Nervenkostüm* – «нервный костюм», а собственное раздражение стало очень удобно лаконично выражать с помощью нервов: сказать, что кто-то «пилит мне нервы» (*Nervensäge*), или пожаловаться, что у тебя «украли последний нерв» (*den letzten Nerv rauben*). «Нервы» в языке даже победили безумие: так, «Я сойду с ума!» не имеет в виду безумие в клиническом смысле, но подразумевает именно нервную перегрузку – «не выдержат нервы».

Стремление психиатрических наук к власти и расширению сфер своего влияния сказывалось на культуре и положительно. Не только в том плане, что психиатры стали проецировать свои методы и знания на объяснение культуры в широком смысле слова (иногда заходя и слишком далеко, яркий тому пример – евгеника и ее последствия для немецкой истории), но и в том, что она питала культуру художественную, а художники, осмысляя новые, научные концепции человека, не только оформляли культурно-социальные тенденции собственными средствами, но и задавали им впоследствии направление и тон.

Ведь сложно себе представить «нервный» дискурс без яркого периода высокого модерна – открытие внутреннего мира, теперь вдруг объяснимого новыми средствами и словами, обращение «вовнутрь», «вчувствование» готовили золотой рубеж веков, взбудораженный предчувствием будущего, к тому, чтобы это будущее увидеть в нервах. Так, Герман Бар (пожалуй, самый влиятельный теоретик искусства модерна) на рубеже веков абсолютно в духе времени провозгласил, что новая литература повернется к «новой психологии», а новый идеализм – к новому содержанию: «Новый идеализм выражает новых людей. И они – нервы; все остальное успело отмереть, пожухнуть и зачахнуть. Они могут переживать одними лишь нервами, реагировать – из одних лишь нервов. Все происходит на их нервах, и все, чего они добиваются, исходит от нервов. [...] Содержание нового идеализма составляют нервы, нервы, нервы»<sup>12</sup>. По Бару, нервы станут единственно возможным способом выражения нового человека, а «нервозная романтика» и «мистика нервов» вытеснят натурализм. Важно здесь не то, насколько оправдались чаяния Бара в отношении искусства (а некоторые из них оправдались) и сколько сторонников или противников он нашел, но важно, что это – один из ключевых текстов эпохи, а значит – часть его дискурса, который он во многом и генерирует.

Пример из другой области подтверждает, как слаженно работают дискурсивные механизмы: «Воспоминания нервнобольного» (1900–1902) Даниэля Пауля Шребера – опыт самоанализа, где даже нервное расстройство раскрывается пациентом через понятия нервов. Шребер пишет, что ему удалось перевести свое душевное состояние на «язык нервов», «который здоровый человек, как правило, не осознает. [...] Использование этого языка нервов при нормальных обстоятельствах зависит, конечно, [...] от воли того человека, о нервах которого идет речь. Ни один человек не может заставить другого пользоваться этим языком нервов. Но в моей ситуации, с момента [...] критического поворота моей нервной болезни, настал тот слу-

<sup>12</sup> Bahr H. Die Überwindung des Naturalismus // Ders. Die Überwindung des Naturalismus. Weimar, 2004. S. 132.

чай, что нервы мои извне и беспрестанно без малейшего повода приходят в движение»<sup>13</sup>. Как и с Германом Баром, здесь важна не реализация идеи в практической жизни, но тот факт, что подобный текст – во всех смыслах слова продукт культуры, и вместе с тем сам – ее созидательный механизм. Как иначе объяснить, что непревзойденнейшим архитектурным шедевром Отто Вагнера была построенная в первое десятилетие XX века в Вене церковь Св. Леопольда для душевнобольных при крупнейшей австрийской клинике для нервно- и душевнобольных Ам Штайнхов? И что в психиатрических клиниках были не только знатные пациенты, но и знатные «гости»?

Психиатрические науки получали особый фидбэк от высокой культуры. Через основанный в рамках науки жанр патографии (клинической биографии выдающейся личности) они осваивали пространство культуры на свой лад – культура неврологического прочтения нервной культуры. Главным проектом этих претензий был знаменитый труд «Гениальность, безумие и слава» психиатра Вильгельма Ланге-Эйхбаума, охватывающий 11 томов патографий практически всех ключевых фигур культурной истории. Проект написания такой «клинической истории культуры» и утверждения психиатрии как ведущей науки не состоялся или не завершился. Однако, как видно, написать культурную историю нервов – достойный проект, который Йоахим Радкау виртуозно воплощает в жизнь на страницах этой книги.

Исходя из частных, отдельных историй пациентов и их болезней, Радкау пишет не просто историю концепции «нервов». История «нервного» дискурса как история говорения о нервах оборачивается историей целой культуры и историей отдельной страны. Психическое, особенно в своем патологическом, диковинном разрезе, становится основой толкования культуры – как национальной (в плане «особого пути» Германии и ее самосознания), так и художественной (в плане различных модусов рефлексии), и личностной. В колоссальной работе Йоахима Радкау отчетливо просматривается удивительная и редкая жемчужина: История как метод.

*Сергей Ташкенов*

---

<sup>13</sup> Schreber D.P. Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Berlin, 2003. S. 34.

## Введение

*До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости?*

**Фридрих Ницше, «Веселая наука»<sup>14</sup>**

*Под известной историей Европы течет история подспудная. Она суть не что иное, как судьба вытесненных и обезображенных цивилизацией человеческих инстинктов и страстей.*

**Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, «Диалектика Просвещения» (см. примеч. 1)<sup>15</sup>**

## История гнета страданий, поиска смысла и войны

Имеет ли нервозность историю? Может ли вообще существовать подобная история? Если речь идет о термине и дискурсе, то начало такой истории датируется на удивление точно и даже просматриваются национальные пути ее развития. Около 1880 года сначала в США, а вскоре и в Германии жалобы на нервозность, нервную слабость, «неврастению» становятся знаменем времени. Почти мгновенно возникает обширный поток специальной литературы, ослабевающий лишь к 1914 году. Вместе с ним растет подозрение, что эти труды и сами по себе играют немалую роль в распространении нервозности. В 1909 году берлинский врач Отто Штульц предостерегает, что первой заповедью любого невротика должен быть запрет на чтение медицинской литературы. Дискурс нервов стал подпитываться подводным течением самокритики, но и эти тексты повествуют о «нашей нервозной эпохе».

Обаяние нервов вышло далеко за пределы медицины. «Я? Я неврастеник. Это моя профессия и моя судьба», – представляется пациент Зэгемюллер в повести Генриха Манна «Искушение доктора Бибера» (1898). Неврастения – это новое понятие было введено нью-йоркским неврологом Джорджем М. Бирдом и после 1880 года с удивительной скоростью распространилось и в Германской империи. Пример Зэгемюллера показывает, что на рубеже веков неврастения для иных людей становилась полноценным содержанием жизни. История нервозности – это история не только страдания, но и сострадания. Генрих Манн, конечно, иронизирует над своим героем. Но вызвала ли у него веселость сама тема? В 1915 году его друг и врач диагностировал у него «тяжелую неврастению». И для него, и для его брата, Томаса Манна, нервы были более серьезной темой, чем это может показаться современному читателю. В 1910 году поэт Георг Тракль говорил об «общей нервозности столетия» небрежным уничижительным тоном. При этом он сам был «клубком нервов» и очень страдал от своего века, который в другом тексте называл «безбожным и проклятым» (см. примеч. 2). Ирония не всегда правдива, и насмешки над модной тогда темой нервов помогали забыть о собственном недуге.

Первый импульс к написанию этой книги дала биография Дизеля, написанная его сыном Ойгеном. Нежный сын изображает своего отца как вечно спешащего «человека под высоким давлением», который предъявлял к себе те же требования, что и к своему мотору: за счет повышения давления достичь максимального коэффициента полезного действия. Таким образом он

---

<sup>14</sup> Цит. по: Ницше Ф. Веселая наука / пер. с нем. К. Свасьяна // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 3. М., 2014. С. 249. – Здесь и далее примеч. науч. ред.

<sup>15</sup> Цит. по: Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб., 1997. С. 282.

стал прототипом своей нервозной эпохи. Его страдания от постоянных перегрузок, сверхтребований, «отчаянных метаний» между различными амбициями были, несомненно, подлинны – судя по всему, изобретатель покончил с собой. Если современных историков медицины смущает размытость концепта неврастении, то история экономики и техники ясно показывает, что жалобы современников на мучительные «суету и гонку», сколь бы стереотипны они ни были, имеют под собой вполне реальную основу. И в то же время судьба Дизеля указывает на то, что проблемы с нервами возникали не только за счет внешнего давления технического прогресса, но и изнутри, за счет переноса на самого себя технических идеалов эпохи.

Разразившаяся в 1880-е годы эпидемия нервозности – очевидное начало современного опыта стресса: именно тогда стресс впервые становится историческим событием. Но было ли происходившее тогда аналогично современному стрессу? Без надежной проверки нельзя проводить параллели между днем сегодняшним и тем, что понималось под нервозностью 100 лет назад. Нужна работа археолога. К примеру, угроза инфаркта тогда не была типична для неврастеника. Неврастения считалась «возбудимой слабостью», причем элемент слабости поначалу доминировал и заставлял потенциальных пациентов направляться на курс лечения. Лишь со временем усилился элемент суеты, рассеянной и судорожной сверхактивности. Вопрос не только в том, какое именно явление считалось тогда нервозностью, но и в том, когда это понятие стало размываться. И еще интереснее, как культура пришла к тому, чтобы представить подобное пограничное состояние в качестве характерного расстройства.

Как тревожная нервная панорама эпохи воплотилась в конкретном понятии и стала доступна для осмысления и обсуждения, мне удалось проследить в дневниках своего деда. Любопытство проснулось, когда я обнаружил, что дневники существуют в двух версиях – оригинальной, написанной в отмеченный день, и второй, более поздней, переписанной для детей и озаглавленной *Memorabilia*. Этот мой дед, жизнь которого отмечена датами 1868-1932-й, со своей военной выправкой, сверкающим взором и лихо закрученными кверху усами, на фотографиях кажется олицетворением образованной буржуазии кайзеровской Германии. Это был воспитанник военного корпуса, мечтавший стать офицером и восхищавшийся не только историком Генрихом фон Трейчке, но и локомотивами. Впоследствии, став лютеранским священником, он воплотил в себе союз трона и алтаря. На фотографиях видно, как после падения кайзеровской Германии он за короткий срок чисто физически одряхлел и состарился, хотя ему было на тот момент всего около 50. В *Memorabilia* за февраль 1901 года он с горьким сожалением вспоминал о «великой перемене», которая произошла с ним тогда и одарила его «бедой», «клином вошедшей во всю его жизнь»: «У меня появились – нервы». Этот первый внезапный всплеск нервозности он пережил утром 28 января 1901 года в небольшом соборном кабачке в Брауншвейге, который всегда был таким «патриархально-уютным». В оригинальной версии дневника он в тот день волшебного слова «нервы» еще не нашел, и там было записано, что у него «внезапно так заколотилось сердце, [что он] просто не мог больше ждать [...] и в волнении без конца бродил по городу несмотря на сильный снегопад». Его спонтанной реакцией был не курс терапевтического лечения, а движение – чтобы вытеснить неприятное ощущение. Поначалу для этого тревожного волнения у него не нашлось нужного слова, и лишь месяц спустя он впервые использует «нервы». Как будто нервы сами по себе были нарушителем спокойствия. В написанных позже *Memorabilia* нервы обретают собственное бытие, как вторгшийся из внешнего мира чужак: «Да, это был фатальный гость, которого я завлек в свой привычный дом, и совсем ужасно было то, что он там расположился и уже никогда не покинул».

Что же случилось до того? В 1899 году, в один год с кайзером Вильгельмом II, дед мой совершил путешествие в Палестину. На то была особая причина – он мечтал стать пастором в немецкой диаспоре на Святой Земле. Однако его *Memorabilia* на удивление мало говорят об этой поездке, меньше чем о велосипедной поездке из Брауншвейга в Хильдесхайм. Дело в том, что поездка к Святой Земле обернулась для него чрезвычайно странным и непонятным опы-

том, после чего его романтические планы о пасторстве в Земле обетованной развеялись как дым. В оригинальном дневнике записи про Святые места куда подробнее: «Плач прокаженных просто чудовищен, его невозможно себе представить». «Религиозное чувство не получает никакой подпитки». Уже предыдущая вылазка в Александрию, тогдашний греховный Вавилон, «несколько подпортила» его настроение и пробудила тревожные плотские потребности. До этого он «со всей серьезностью намеревался не жениться», чтобы подать своей пастве пример аскезы. Теперь его душевному покою пришел конец. В 1901 году на меловых скалах Рюгена ему припомнился вид с горы Кармель, и воспоминания ожили вновь. «Кучера на обратном пути посадили с собой на козлы двух девушек! [...] Я занервничал!» И в последующие дни все время одно и то же: нервы! Ему удалось попасть на прием к знаменитому Швенингеру, бывшему лейб-врачу Бисмарка. Тот укрепил его в намерении жениться, поскольку в этом случае «все пройдет само собой». Пациент отметил этот совет двумя восклицательными знаками и женился. Этому терапевтическому приему я обязан своим появлением на свет. Однако от своей нервозности дед так и не избавился. Ключевое слово «нервы» вошло в его лексикон раз и навсегда. Все началось с кризиса смыслов и – одновременно – возбуждения чувственности и уже никогда не успокоилось. Что-то подобное произошло и со всей Германской империей. Неврастения наделила смыслом целый пучок жалоб. Однако и этот смысл не помог обрести покой.

Об истоках Первой мировой войны написаны целые библиотеки. И тем не менее остается психологической загадкой, почему немецкие правящие слои ввязались в мировую войну, больше того – спровоцировали ее и отчасти действительно к ней стремились. Ведь время до 1914 года, по крайней мере для людей состоятельных и благополучных, было прекрасным, настоящей *Belle Époque*. Откуда эта неспособность наслаждаться мирным счастьем, удерживать его? Поначалу кажется, что история нервов, которая раскрывает «мягкие», далеко не милитаристские стороны довоенного общества, только усугубляет эту загадку. Однако поиски смыслов и нервных сил содержат и ключ к решению. В итоге тема нервозности натягивается огромным козырьком над всем пространством культуры – от медицины до политики, от неврологических клиник до придворного сообщества. Нервозность как болезнь и как состояние культуры, как индивидуальный опыт и как состояние нации: вследствие исторических процессов все эти многочисленные нервозности со временем образуют общую нервозность эпохи.

Развязывание Первой мировой войны обычно объясняют структурой международной политики в эпоху империализма и/или социальными структурами кайзеровской Германии. Однако ни первое, ни второе объяснение не обладает неизбежной логикой. Здесь кроется еще не получившая удовлетворительного теоретического объяснения и решаемая в основном за счет красноречия проблема взаимосвязи между структурами и цепочками поступков, изменяющих эти структуры. Чтобы преодолеть это, нужно выяснить что-то о кинетической энергии общества – о той расходящейся и все изменяющей тревоге, которая взаимосвязана с тем, как именно познаются существующие структуры. Это также побуждает точнее исследовать ту «нервозность», о которой столько говорилось и писалось в эпоху, предшествующую 1914 году.

Чтобы понять, что тогда происходило, нужно все время помнить о двуликости понятия «нервозность»: она была культурным конструктом и в то же время подлинным расстройством. Взятые в отдельности симптомы – кишечные и желудочные боли, импотенция, сердцебиение, бессонница, состояние тревоги и слабости – многозначны и не специфичны; целостной нервозностью они становятся лишь посредством обобщения и интерпретации. Однако в свое время эти истолкования не были произвольны. Культура – это не намеренно действующий субъект, запросто выдумывающий себе болезни. И нервозность того времени – не просто модное слово – она была и остается тревожным и мучительным подлинным опытом.

Да, без дискурса нервов нет нервозности. Вплоть до свидетельств пациентов, начиная с моего деда, прослеживается, как вибрирующий образ нервов высвобождает этот опыт. Но в

том-то и дело: правильно понятая история дискурса – это история не только слов, но и – еще более – живого опыта. Слишком часто «история дискурса» вырождается в историю одних дискуссий, как будто вся всемирная история есть бесконечное заседание ученых мужей. Дискурс нервов представлял собой иное явление: у него не было модератора и были, как мы увидим, собственные дикие, непостоянные, эмоциональные эскапады. В этом и его прелесть для исследователя, и его опасность.

Обаяние литературы о нервах состоит в первую очередь в том, что в ней чувствуется собственный опыт пишущего, его опыт самопознания. Если неврологи постоянно заверяют, что при всей путаной симптоматике неврастению все же легко идентифицировать, то эта уверенность произрастает не только из трезвого анализа, но также из интуиции и внутренней близости. И у Бирда, автора понятия «неврастения», заметен личный опыт этой болезни, и у немецкого специалиста Пауля Мёбиуса нетрудно разглядеть, что он пишет о себе. В оскорбительных письмах, которыми засыпали его шведские феминистки после выхода в свет его работы «О физиологическом слабоумии женщины» (1900), они с особым удовольствием нападали на его «нервозность». Для них она проявлялась в его враждебности к женщинам и понималась ими прежде всего как сексуальное бессилие. «Мы над Вашей книгой [...] ужасно хохотали. [...] По одному тому, что такая книжка в принципе может быть написана, очевидно, как дегенерировали немцы. [...] Вся она свидетельствует о самой страшной нервозности и тревоге» (см. примеч. 3).

Невролог Вилли Гельпах, в начале XX века самый расторопный молодой автор по теме «нервозность» и один из основных моих свидетелей, не делал тайны из того, что расстройство, с которого когда-то началась его карьера, было и его собственной проблемой, и вместе с тем его шансом. Когда он был молодым врачом, «его страшно раздражало» ожидание пациентов, пропускавших прием. Его нерешительность в любви и двойная жизнь также выводили его из себя. «Моя жизнь становилась все более безнадежна. Я видел лишь кучу осколков и руины». Когда он открыл нервозность как свою тему, он знал, о чем писал. Однако им руководило не одно только страдание, но и честолюбие. «Ходят слухи, что неврологу принадлежит будущее, XX век будет веком неврастения и ее преодоления». Именно неудержимая радость открытия неисследованных регионов обыденности сделала его тем, что он стал не крупным ученым, но медиумом своего времени. «Гельпах говорит обо всем, обо всем на свете», – смеялся его гейдельбергский коллега. Фрейд, однако, заверял Гельпаху, что относит его «к честным искателям истины, к каковым отношу и самого себя» (см. примеч. 4).

Диагноз, поставленный благодаря интуиции и самопознанию, имеет собственную сомнамбулическую надежность, а также коварство. Это еще больше относится к «нервозности» как к политическому диагнозу. Немецкая история нервозности – в кайзеровской Германии и после нее – повествует не только о психосоматическом расстройстве, но и о взаимодействии опыта расстройства и сознания своей эпохи. Это делает тему актуальной и сегодня, когда психологическая игра с собой и с миром определяет сознание более, чем когда-либо, и терапия, а также решение подвергнуться ей, стали существенной частью общения с собственным Я.

## I. Магистралы и перекрестки в истории нервов

### По следам высоких теорий – о нервозности модерна

Эта книга предполагает, что рассмотрение истории феномена нервозности нуждается в прицельной точности и индивидуальном подходе – нужно направить оптику на записи самих «нервнобольных», исследовать не только общую нервозность Нового времени, но и конкретные, частные истории. Правильен ли такой подход? Может быть, тема «нервозность» нуждается не в дотошном расследовании, а в антропологии, философии истории, универсальной великой перспективе? Может быть, мы наивно путаем слова и феномены, предполагая, что если понятие «нервозность» принадлежит модерну, то и сам феномен нервозности также родом оттуда? Разве тревоги и дрожь неудовлетворенных желаний не известны людям с незапамятных времен? «Погоня и охота дарят сердцу человека вспышки неистовства», – учил Лао-цзы в VI веке до н. э. Тоска по спокойствию духа уже тысячи лет остается одним из основных мотивов философских учений.

Следует ли из этого, что расстройство, которое мы сегодня называем «нервозность», идет из глубокой древности? В известном смысле – да: древний субстрат у него, безусловно, имеется. Мы имеем дело не только с обусловленными эпохой конstellляциями, но и с одним из основных состояний человека. Однако тысячи лет ядром любой жизненной мудрости было обуздание страстей. В «нервный век» основной опыт, напротив, был иным: многие страдали от надлома, нерешительности чувств и тосковали по сильной страсти, способной собрать и направить в общее русло всю энергию. Именно этим объясняется политическая взрывоопасность интерпретации мира через «нервы». Артур Имхоф видит в истории Нового времени ментальный процесс снижения конкретных страхов и рост неясных тревог. Если это так, то конкретная угроза – такая как война – способна вызвать чувство облегчения. Швейцарский правовед Карл Хилти на рубеже веков иронизировал, что немцы любят завершать свои доклады о нервозности словами Бисмарка: «Мы, немцы, боимся Бога, но кроме него – ничего на свете». На самом же деле, по словам Хилти, как раз Бога многие немцы не боятся, зато боятся многого другого, «а это и образует одну из главных причин неврастения» (см. примеч. 1).

Подавленность и уныние терзали людей уже в древности: меланхолия представляет собой исходную форму психического расстройства. Однако неврастения – не то же самое: она принадлежит тому культурному кругу, в котором умеренная меланхолия поддерживается многочисленными стимуляциями. Такой же древний, мифообразующий феномен представляет собой ярость. Но то наполовину сдержанное раздражение, которое связано с полупреодолённой меланхолией, носит скорее современные черты и подходит обществу, в котором не принято безудержно предаваться подобным страстям. Чезаре Ломброзо, известнейший итальянский психиатр конца XIX–XX века, считал неврастению характерной чертой своего времени, когда эксцессивные чистые формы неистовства и уныния отступали, а на сцену выходили «расстройства рассеянности» (см. примеч. 2).

Нервная слабость вследствие перегрузки: может ли это быть историческим новшеством? Изношенность тела за счет тяжелого труда известна, конечно, всю историю земледелия. Однако мир труда тысячи и тысячи лет находился во власти привычек и подчинялся ритму времен года. В традиционном аграрном обществе зима была временем относительного покоя, а вместе с тем темноты и холода, замирания жизненных соков и меланхолии. Непрестанная работа, напротив, увязывалась с хорошими сезонами: «торопливая страда» была привычной фразой. «Во время срочных полевых работ, – пишет сельский врач в 1905 году, – в сельском населении возникает трудовой порыв, он захватывает и гонит на работу все и вся, что только к нему способно».

Даже «нервнобольной», «охваченный трудовым пылом», забывает о своем расстройстве (см. примеч. 3). Таким образом природа управляла психической стороной труда, пока непосильные поборы не парализовали волю к труду.

В городах форма и темп труда даже в XIX веке в значительной степени также регулировались привычками и природными ритмами. Лишь на рубеже веков стали наступать перемены. Невролог Франц Виндшейд в 1909 году отмечал, что «чувство, что не успеваешь что-то сделать» – «один из наиглавнейших источников» «профессиональной нервозности». Психиатр Ганс Бюргер-Принц справедливо называет хроническую боязнь не успеть выполнить повседневные задачи, не справиться или сделать что-то неверно массовым явлением модерна. То же можно сказать о мучительной разбросанности внимания. Вилли Гельпах<sup>16</sup> даже ставил точную дату: «рассеивание нагрузки» стало «всеобщим правилом» «где-то с 1890 года» (см. примеч. 4).

Итак, определенные типы психической нагрузки становятся массовыми лишь в Новое время. Но стоит ли историку переходить на микроуровень и изучать индивидуальные случаи? Может быть, тема требует мегаанализа: поисков психологических инструментов для теорий модернизации? Разве нервозность не вытекает логически из основных современных процессов, прежде всего подъема капиталистической конкуренции, индивидуализации, ускорения? Рассмотрим эти процессы внимательнее.

Начнем с причинно-следственной связи между капитализмом и нервозностью: эта связь кажется особенно сильной и бесспорной. Понятно, что конкуренция и ставка на высокие показатели, слияние рисков и шансов, подъемы и спады конъюнктуры, суетные вибрации биржи, тенденция к перманентным инновациям – все это означало для множества участников и жертв этих процессов аномальную нагрузку. «Щекочущее напряжение», по словам Фернана Броделя, пронизывает уже торговый капитализм раннего Нового времени (см. примеч. 5). В таком случае та «борьба за существование», на которую жалуются авторы трудов по нервозности, в конце XIX века новостью не была.

Но целиком и полностью свободный рынок существует только в экономической теории, а не в исторической реальности. Стремление к безопасности было всегда слишком сильным, и потому субъекты экономики во все времена проявляли замечательную изобретательность, как только им угрожала неопределенность тотальной свободы: вступали в действие привычки, договоренности, семейные связи, картели, закрытие национальных и региональных рынков. Постоянные инновации далеко не всегда служат жизненным законом капитализма, как считают экономисты-теоретики. Закон инерции и здесь проявлял свою силу, и в научных трудах его действие нередко обнаруживается между строк.

Но в конце XIX века экономические отношения в Германии становятся все более бурными, стереотипная жалоба на «травлю и охоту» была не пустой фразой. Как писал в 1911 году исходя из собственного опыта социолог и философ Макс Вебер, на рубеже веков из-за обострения конкуренции многие индустриальные предприятия, которые еще недавно почти не занимались учетом прибыли, были вынуждены перейти к строгим калькуляциям своих доходов. Эти тяжелые времена оставили свой след в нервных клиниках – как, например, в истории

---

<sup>16</sup> Гельпах Вилли (1877–1955) – знаковый и тем самым типичный персонаж профессиональной культуры своей эпохи: некогда ученик самого Вильгельма Вундта, Гельпах вписал себя в историю как врач, психолог, журналист и политик-демократ. Самый цвет «нервного модерна» приходится на начало как его научных изысканий в области социальной патологии нервозности, так и трудовых будней в качестве невролога. Однако круг проблем, как и положено духу науки и времени, стремится вписать себя в более широкий дискурс и утвердиться в основополагающем – в культуре как таковой. Так, практически полувековой научный путь Гельпах от «Проституции и проститутки» (1905) до «Немецкого характера» (1954) затрагивает темы религии, воспитания, образования, гигиены, труда, искусства, творческого акта, урбанизма, социума, этноса, географии и проч., – по сути, преломляя психиатрическую дисциплину культурологически. Несмотря на столь широкий горизонт интересов, Гельпах известен прежде всего как один из лидеров и родоначальников геопсихологии, и шире – психологии среды.

текстильного фабриканта из-под Аахена, 51 года, в 1907 году прибывшего в санаторий Бельвю<sup>17</sup> на Боденском озере: «Пациент с 14 лет постоянно перенапряжен [...] повсюду ощущает беспокойство, “нигде не задерживается надолго”, меняет врачей и курсы лечения». Его родственник уверяет, что для экзистенциальных тревог фабриканта в принципе нет оснований, все дело только в том, что смена эпох отняла у него чувство безопасности: конкуренция в текстильной сфере лишила ее былого уюта и повлияла на рентабельность. «Пережить этот факт (он) не в силах, и это его постоянно злит и мучает». И теперь он «из каждой мухи делает слона» (см. примеч. 6). Даже когда дела шли хорошо, новые обстоятельства – необозримость экономики и постоянная необходимость держать уши востро – оборачивались для чувствительных натур вечной мукой.

Капитализм влияет на психику не только своим давлением, но и заманчивыми перспективами – сулит новые шансы и создает новые потребности. «В начале была Англия. И удовлетворенность ушла из этого мира», – лаконично комментирует один эконом начало индустриальной революции (см. примеч. 7). Не случайно в XVIII веке нервные расстройства нового типа фиксировались как «английская болезнь». Хроническое недовольство объясняется самой сутью денег: ведь она заключается не в исполнении определенного желания, а в создании шанса для удовлетворения любых потребностей. Деньги становятся материальным фундаментом для состояния, в котором человек испытывает постоянные смутные вожеления.

Тем не менее в истории деньги не всегда и не автоматически играли такую роль. Зачастую они служили в первую очередь, для того чтобы удовлетворять привычные и заданные потребности. Но были исторические фазы, когда заложенная в деньгах психодинамика обострялась; эпоха нервозности явно была именно такой фазой. Главный социолог модерна Георг Зиммель в «Философии денег» (1900) дал тогда классическое определение ментальных последствий монетаризации, затронув самый центр мира нервов: например, когда описывал, как деньги ускоряют «темп жизни» и производят вечный непокой, вечное метанье между множеством разнообразных желаний (см. примеч. 8).

Индивидуализация – из этого секулярного процесса тоже вполне логично проистекает нервозность. Если исходить из того, что в течение Нового времени индивид покинул уютный и обыденный мир заданных социальных порядков, то это означает, что уже за счет секулярных тенденций он попал в тревожный новый мир ненадежных норм, где нет постоянного распределения социальных ролей, где нужно обо всем заботиться самому и нести собственную ответственность. И поскольку с другими людьми происходит то же самое, то столкновения различных жизненных проектов становятся все более жесткими и судорожными. Психический стресс – так можно было бы продолжить – набирает силу благодаря растущей вместе с ним рефлексии. Мало того, что место, где ты находишься, объективно небезопасно, – психическая неуверенность нарастает еще и благодаря эгоцентризму, хаотичным размышлениям о небезопасности. Поведение, в котором человек руководствуется инстинктом безопасности, осталось в прошлом. Человек вечно сомневается: правильный ли он сделал выбор – будь то профессия, партнер или образ жизни – и отвечает ли он соответствующим требованиям. Внешние приключения сменяются самодисциплиной. Однако воспитание дисциплины в самом себе идет

---

<sup>17</sup> Санаторий Бельвю – с 1857 до 1980 года легендарная психиатрическая клиника в Кройцлингене (Швейцария), которой руководили четыре поколения семьи прославленных психиатров Бинсвангеров: Людвиг-ст., Роберт, Людвиг-мл. и Вольфганг Бинсвангеры. Клиника сыграла существенную роль в развитии теоретической и практической психиатрии. Так как клиентуру клиники составляли в основном выходцы из аристократии, она стала и знаковым культурным топосом, особенно в период интенсивной (и во многом эстетической) мифологизации психических отклонений как сопроводительных признаков творческого склада человека. Так, среди пациентов и гостей клиники были известные ученые, художники и поэты (в культурной истории этот феномен стал называться «богемой на Боденском озере»), такие как Нижинский, Грюндгенс, Кирхнер, Франк, а также Анна О., самая знаменитая героиня «Исследований истерии» Брейера и Фрейда. Клиника была закрыта по финансовым причинам.

далеко не гладко, тем более в мире, который все усложняется и подает личности все более противоречивые сигналы.

Но и индивидуализация не настолько связана с модерном, как часто думают. Уже средневековые монахи предпочитали индивидуальный образ жизни: стоило ослабеть дисциплине орденов, как монастырские общественные помещения опустели (см. примеч. 9). Вместе с тем и в Новое время процесс индивидуализации был не единственным, у него были конкуренты, его сопровождали противоположные тенденции социализации. Достаточно вспомнить, что на протяжении большей части истории человечества в регионах с холодной зимой множество людей просто чисто физически не могли себе позволить образ жизни на большой дистанции от своих домочадцев. Топили только дровами, и дрова стоили дорого. Даже если в царстве идей набирал силу индивидуализм, то в реальности стужа заставляла людей жаться друг к другу.

Однако со второй половины XIX века, когда за счет массовой добычи каменного угля отопление стало дешевле, телесная дистанция стала расти. Теперь можно было совсем по-другому прочувствовать и стыдливость, и страх заражения, и эгоцентрическую возбудимость, и одинокие фантазии. Однако стабильные формы жизни выросли из этого далеко не так скоро – жизнь в одиночку становилась нормой долго и постепенно. Мать 25-летнего электротехника, уже побывавшего в Америке и попавшего в санаторий в 1901 году из-за неврастения, считала его «идею жизни в одиночку» ошибкой, хотя сын тосковал по автономии и связывал с ней мысль о «неуютной *chamber gar nie*<sup>18</sup>». Пауль Мёбиус<sup>19</sup> из собственного опыта рассказывал о жалкой холостяцкой жизни в съемных комнатах – недаром здесь так много нервных: «вскоре на тебя начинает давить нужда, отвращение к этому жилью и его хозяевам, кабакам, нехватка пуговиц на рубашке и прочее и прочее». Типичные обитатели меблированных комнат совершенно беспомощны перед уличным шумом, детским криком и брэнчанием пианино (см. примеч. 10). В семьях индивидуализм тоже набирает силу; но пока в игру не вступили соответствующие виды толерантности, потребности личности были источником внутрисемейных трений. Невролог Вильгельм Гис-младший<sup>20</sup> видел подлинную причину нервозности в «субъективизме, который все и вся обращает на собственную персону, ее благополучие и чувственное наслаждение». Однако не одно наслаждение: в истории болезни одного неврастения, юриста 23 лет, им самим написанной на 55 страницах, повторяется жалоба на «чувство, что толком не знаю, где я», и поэтому ему все время страшно (см. примеч. 11).

Ускорение, цейтнот – еще один характерный признак модерна, причинно-следственная связь с нервозностью конструируется здесь напрямую. Однако и эта глобальная тенденция была прерывистой и нарушалась другими, противоположными. С тех пор как «время» стало модной среди историков темой, обсуждается, что временная дисциплина стала крепнуть уже с Позднего Средневековья, когда на ратушах и башнях появились городские часы. Отчасти да, но еще несколько столетий часы эти шли не точно и имели скорее символическую, чем

---

<sup>18</sup> Меблированная комната (*фр.*).

<sup>19</sup> Мёбиус Пауль Юлиус (1953–1907) – одна из ключевых фигур научной и культурной истории немецкой психиатрии, автор важных работ по истерии и психогенезу психических заболеваний. Внес существенный вклад в дифференциацию и систематизацию психических расстройств (которую детально проведет его друг, великий Эмиль Крепелин), впервые разделив их на эндогенные (обусловленные внутренними факторами нервной системы) и экзогенные (вызванные внешними явлениями). Мёбиус активно расширял поле психиатрического авторитета, экстраполируя научные знания и методы на культуру: ему принадлежат знаменитые патографии Шумана, Шопенгауэра, Ницше, Руссо и даже Гёте. Несколько неприятный след в истории Мёбиус оставил сочинениями «О вырождении» (1900) и «О физическом слабоумии женщины», которые, однако, органично вписывались в научные тенденции эпохи и еще не несли в себе того разрушительного заряда, который в эти идеи позже вложат национал-социалисты.

<sup>20</sup> Гис Вильгельм-мл. (1863–1934) – сын известного швейцарско-немецкого анатома (того самого, который не только реконструировал лицо И.С. Баха, но и заложил основы теории нейронов); изначально шел по стопам отца и даже совершил ряд значительных открытий в области эмбриологии сердечно-сосудистой системы, но в первое десятилетие XX века, поддавшись очарованию эпохи и эстетической подоплеке «сердечного нерва», увлекся естественно-научным гуманизмом и психологической этикой врачебного искусства.

практическую ценность. Серьезную перемену повлекло за собой появление настенных часов и железнодорожных расписаний – уже в XIX веке. Однако и в то время карманные часы с золоченой цепью, украшавшие дородные животы, скорее повышали статус своего обладателя, чем вынуждали его гнаться за временем. Поначалу трудовая дисциплина означала только одно – вовремя начать рабочий день, и лишь в конце XIX века был введен постоянный контроль за темпом работы. В природе многих людей в то время еще сохранялась прежняя неторопливость. И тем более суетными они становились от наступающего на их жизнь ускорения. Словами Роберта Музиля: «...словно старое бездеятельное человечество уснуло на муравейнике, а новое проснулось уже с зудом в руках и с тех пор вынуждено двигаться изо всех сил без возможности стряхнуть с себя это противное чувство животного прилежания» (см. примеч. 12).

Однако, как совершенно верно отметил Гельпах, эпоха модерна ускорила темп не во всем и не везде – в некоторых отношениях «темп развития человека замедлился». «Мы нуждаемся в более длительных сроках для воспитания... почти все культурные народы медленнее и обстоятельнее едят, чем большинство народов “природных”; в течение XIX века с его бурным ускорением транспорта замедлился карьерный рост, продвижение по службе становится все более тягостным». Уже бюрократизация служила тормозной колодкой, так как – словами одного авиатехника – «суть бюрократизма во все времена – тянуть время» (см. примеч. 13). Однако того, для кого возросшая скорость уже стала второй природой, эти замедления как раз и выбивали из колеи. Время на сломе веков стало эпохой, когда новый темп стал не только внешним фактором, но был усвоен самими людьми посредством велосипеда и автомобиля, спорта и кино.

Подводя итоги: все те магистральные тенденции Нового времени, которые представляются причинами нервозности, никогда не действовали без помех, они всегда пробуждали противоположные силы. В конце концов, люди сами творят свою историю и не позволяют ими же спровоцированным неприятностям развиваться до бесконечности. Да и без намерения человека мир становится все сложнее и комплекснее по мере глобализации. Но общую историю социальных систем можно интерпретировать, словами Никласа Лумана, как процесс редукции комплексности. Получается, для новой нервозности вообще нет причины, по крайней мере на уровне системной динамики?

И все же, в исторической реальности редукция комплексности проходит не гладко. Социум отвечает на эффект современного стресса, как правило, не сразу, но с отставанием, и далеко не все участники этих социальных реакций при этом выигрывают. Как раз тормозящие силы способствуют тому, что определенные модернизирующие процессы, стоит только ослабнуть тормозным механизмам, сдают назад и вызывают тяжелые потрясения: именно так и происходило, очевидно, в «эпоху нервозности». Более того: между процессом и ответной реакцией на него далеко не всегда устанавливается спокойный баланс, нередко возникают узлы и перемычки, создающие новые центры напряжения. К примеру, один такой изнурительный для психики узел появился между новыми нездоровыми привычками того времени и массовым реформ-движением<sup>21</sup> за оздоровление. Стремительный переход к сидячему образу жизни,

<sup>21</sup> *Reformbewegung, Lebensreform* (нем. – реформа жизни) – движение, распространявшееся с середины XIX века и принявшее в Германии модерна нешуточный размах. За отсутствием единого центра оно породило множество субкультур, ключевые аналоги которых наблюдаются и в XXI веке. «Реформаторы» выступали с критикой урбанистической культуры: в современном прогрессе им виделись симптомы упадка общества, всяческие «болезни цивилизации» (другими словами, «заката Европы»), «лечить» которые нужно «естественным», «сопряженным с природой» образом жизни. С этим связан и парадокс «реформаторского» бума: выступая изначально движением антимодерным и даже реакционным, критикующим индустриализацию и материализм, противники современности оказались законодателями новой моды на новую современность. Реформе подлежали практически все стороны бюргерской жизни. Впервые двигателем культурного развития стал целенаправленный и принципиальный поиск *альтернативы* (ср. ключевые для современности понятия альтернативной музыки, альтернативной медицины и проч.), колеблющийся между продуманной сдержанностью и ажиотажной крайностью. Так, например, одни радели за новый стиль одежды – в угоду эмансипации, практичности и здоровья, в то время как другие пропагандировали и практиковали натурализм, которого от простой наготы нудизма отличала как раз крепкая идеологическая составляющая (культурная

рост потребления мяса, соли, сахара и все более массовая доступность таких стимуляторов, как алкоголь и кофе, – все это составляло материальную основу того, что 100 лет назад понимали под нервозностью. Скопления газов, чувство переполнения, запоры – все эти расстройства являются важной и еще не полностью изученной частью истории телесных ощущений Нового времени. Немало источников неприятностей, вызывающих общее состояние дискомфорта и раздражительности, можно обнаружить в кишечнике. Другие связаны со стимулирующими жидкостями – кофе и алкоголем. Странники жизненных реформ боролись против вредоносных привычек, однако часто мало что могли изменить и приходили лишь к угрызениям совести и тревожным самонаблюдениям. В 1911 году в санатории Арвайлер целыми днями лежал на шезлонге тучный священник, про которого писали, что все «его мысли» вертятся «вокруг его стула» (см. примеч. 14).

Нервозность модерна часто дефинируют как перевозбуждение и считают следствием стимуляторов современной цивилизации. Никлас Луман, напротив, утверждает, что «сверхпотока раздражителей» вообще не может быть. Потому что «нейрофизиологический аппарат» резко отключает сознание и «оперативный медиум-разум» довершает «работу, чтобы позволить актуализироваться только тому, что хорошо переваривается». Но чтобы человек был способен реагировать на опасность, нервная система не имеет права полностью «отключать» сознание от внешних помех. Она должна передавать и предупредительные сигналы. «Оперативный медиум-разум» также не всегда работает совершенно. Там, где смысл жизни подвергается сомнениям, восприимчивость к раздражителям, вызывающим замешательство, возрастает, как было, например, с моим дедом в Палестине. Аналогичная динамика наблюдается на уровне всей империи того времени.

Этот вид нервозности не обязательно носит характер болезни. Напротив, без способности к ней люди и социальные системы не выживали бы в непривычных опасных ситуациях. Психика человека может многое вынести, и по современному уровню знаний уже нельзя, как прежде, автоматически исходить из того, что общество модерна вызывает психические расстройства. Долгое время многие считали эту причинно-следственную связь ясно доказанной. Примерно в 1910 году писали, что процент душевнобольных в Пруссии в 182 раза выше, чем в Индии. И еще в 1960-е годы Мишель Фуко и «новые левые» возвели связь между «безумием и обществом» чуть ли не в догму. Однако картина полностью изменилась, когда в 1970-е годы всемирные исследования ВОЗ показали, что процент тяжелых психозов – постоянная величина, не зависящая от общества (см. примеч. 15).

Но с менее тяжелыми нервными расстройствами дело обстоит иначе. Как замечает Карл Ясперс, у невротиков свой «стиль времени», и у неврастения это именно так (см. примеч. 16). Какую бы роль ни играло тело в возникновении недуга, его динамика определяется окружающей средой. Это – главное. Нервозность не обладает никакой сутью, которую можно было

---

интегрированность этого течения отражается также и в самом немецком обозначении *Freikörperkultur* – «культура свободного тела»). Стародавнее «назад к природе» оборачивается разумной практичностью, выливаясь в антиурбанистические формы жизни, в основном по типу коммун и крестьянских поселений, хотя и здесь эстетство во многом взяло верх над идеологией – достаточно вспомнить, например, основанную в 1889 году Ворпсведскую колонию художников в Нижней Саксонии, взрастившую целую плеяду импрессионистов и экспрессионистов. Единения с природой под народные песни у костра искали и «Перелетные птицы» (*Wandervögel*) – молодежное движение, по сути, немецких скаутов, проявивших экологическую сознательность. И естественно, свои претензии на излечение недугов модерна заявила пропитавшаяся верой в витализм альтернативная медицина – так называемая натуропатия. Одержимость витаминами еще не достигла современного человека, зато его с головой накрыло альтернативное питание – от банально модной поверхностной диететики до более продуманных форм вегетарианства и сыроедения (в Германии до сих пор, помимо традиционных биомаркетов, существуют и реформ-магазины рационального питания – *Reformhaus*). Легендарный швейцарский диетолог Макс Бирхер-Беннер в первые годы XX века не только изобретает мюсли и придумывает ряд энергетических диет, но и открывает легендарный санаторий «Жизненная сила»: примечательно значение, которое на рубеже веков в Германии отводится медицинским концепциям – свою здравницу Бирхер-Беннер называл «школой жизни» (как называлась и реформ-педагогика его эпохи), в то время как гостивший в ней Томас Манн нарек ее «гигиенической каторгой» из-за господствующей «терапии порядка», что, однако, не помешало ему взять санаторий за пространственную модель знаменитой «Волшебной горы».

бы абстрагировать от ее протекания, но как функциональное расстройство она проявляется именно в том, как пациент ее проживает: какие механизмы он запускает, чтобы от нее избавиться, и как он взаимодействует с окружением. Эта реакция пациента на свою нервозность и это взаимодействие определяют роль и место такого расстройства в Истории. То, что в медицинских учебниках тщательно разделено на этиологию, симптоматику и терапию, здесь перемешивается друг с другом. Пребывания на курортах и водолечебницах, с помощью которых неврастеники стремились облегчить свои страдания, становились составляющими стиля жизни невротика; при этом нервозность превращалась из болезни в некий феномен страдания и вождления. Насколько серьезной болезнью были нервные расстройства, во множестве частных случаев историку реконструировать невозможно, да в принципе и не нужно. Гораздо важнее осознавать, что нервозность была динамично развивавшимся культурным явлением первостепенной важности, породившим новый опыт восприятия эпохи и мира.

## Карьера «нервов» как понятия

Под словом «нервы» даже в Новое время еще долго понимались мускулы и сухожилия. Обозначать тонкие передатчики возбуждения они стали только в VIII веке, и это изменение пришло из Британии. Мгновенную популярность нервы обрели в 1765 году благодаря книге шотландского врача и физиолога Роберта Уитта<sup>22</sup>. Как писал один из учеников Уитта, даже те, кто прежде понятия не имел о своих нервах, жадно ухватились за это слово. Оно сумело вобрать в себя и выразить широко распространенный опыт. Человек сегодня уже немислим без нервов. Но как именно концепт нервов изменил его самопознание? Еще в XVII веке открытие Гарвеем кровообращения укрепило давнее представление о сердце как источнике жизни. Теперь «нервы» поместили в центр тела свой основной узловой центр – мозг. А также вдохнули жизнь и в периферию. Нервы стали претендовать на роль средоточия жизненной силы: в конце XVIII века распространилось мнение, будто сущностью жизни является возбудимость. Однако уже скоро нервные волокна, эти нежные структуры, оказались особенно шаткими. Кристоф Гуфеланд<sup>23</sup> в 1812 году писал, что никогда еще нервные болезни не были явлением столь частым как сейчас и едва ли встретишь теперь болезнь без «участия нервов в виде судорог или чего-то подобного». Мишель Фуко рисует карьеру «нервов» как революцию в медицине: «новый мир» нервных заболеваний развернул «собственную динамику». Она повлияла не только на медиков, но и на пациентов, на их манеру описывать свои страдания.

Герд Гёкеньян считает время с XVIII века по сегодняшний день «нервным периодом в истории тела». Правда, под «нервами» XVIII век разумел нечто иное. Так, еще где-то в 1790 году «прототипом нервного заболевания» считалась астма. Под личиной «нервов» отчасти продолжалось прежнее учение о соках; люди представляли себе нервы по аналогии с кровеносными сосудами как трубки, по которым циркулирует «нервный сок». Поскольку черепно-мозговые и спинномозговые нервы окружены подвижной жидкостью, такое представление не было отвлеченным рассуждением. Между сосудистой недостаточностью и нервной слабостью еще и в течение всего XIX столетия видели тесную связь, особенно у женщин; «через боль нерв как бы молит о здоровой крови», если он реагирует со сверхчувствительностью, согласно учению Морица Ромберга<sup>24</sup>, основателя немецкой неврологии (см. примеч. 17). Для тех, кто видел в нервах основу жизненной силы, спинномозговая жидкость была особым соком, подчинявшимся собственным законам, как сперма. Поскольку для движения жидкости нужно время, становилась понятной замедленность телесных реакций: такое восприятие нервов соответствовало стилю эпохи, еще не замороженной скоростью.

Столь же долго сохранялось представление о близости нервов и мышц; такие понятия как «нервное напряжение», «вялые нервы» и «нервная слабость» существуют и поныне. *Nervig* означало «мускулистый». Пока люди представляли себе нервы как мускулы, они почти автоматически приписывали слабые нервы женщинам. Однако около 1900 года такой уверенности

---

<sup>22</sup> Имеется в виду его труд «Нервные, ипохондрические и истерические заболевания, со вступительными замечаниями о симпатии нервов» (1764). Под «симпатией» нервной системы Уитт имел в виду «сочувствие частей», т. е. взаимодействие нервов через центр (т. е. Уитт предвосхитил теорию рефлексов, а его идеи действительно продолжил И.П. Павлов), но похоже «нервы» и в буквальном смысле вызвали симпатию у современников.

<sup>23</sup> Гуфеланд Кристоф Вильгельм (1762–1836) – известный немецкий врач, яркий представитель витализма, один из основателей макробиотики. Личный врач прусского короля Фридриха Вильгельма III, лечил также Гёте, Шиллера и Гердера. В двухтомном «Искусстве продления жизни» (1798), которое можно по праву назвать бестселлером, Гуфеланд в духе Просвещения изложил принципы гармоничного стиля жизни. Теория «жизненной силы» (витальности) Гуфеланда существенно определила развитие натуропатии.

<sup>24</sup> Ромберг Мориц Генрих (1795–1873) – врач, автор классического «Учебника нервных болезней» (1853). До сих пор в разных своих вариантах и в различных сферах применяется так называемая поза Ромберга (стоя, с вытянутыми вперед руками и закрытыми глазами), позволяющая выявить некоторые поражения нервной системы и нарушение равновесия.

уже не было. Тот, кто воображал себе нерв как жилу, легко ассоциировал его с тетивой лука или струной скрипки: это подходило к «напряжению» и «возбудимости» нервов и объясняло, почему длительное напряжение приводит к слабости и вялости. Если в конце XIX века кого-то занимали собственные нервы, то всегда существовал некоторый выбор, как именно их трактовать.

Новая эра началась после того, как в революционном 1789 году Луиджи Гальвани открыл явление животного электричества. Нервы наэлектризовались, а «нервное напряжение» объяснялось теперь через электричество. Идеи неврологии попали в загадочный мир электричества. Появилось и объяснение молниеносности некоторых нервных реакций, тем более что электрический характер молнии стал известен совсем недавно. С течением времени эти новшества сделали возможным новое чувство нервов и поворот в дискурсе нервов, причем в центре внимания оказались возбудимость и скорость реакции.

В Англии конца XVIII века «новый язык нервозности», как пишет Рой Портер, был «насквозь пронизан классово-предубежденностью»: «нервы» были признаком утонченного общества, занятого интеллектуальным трудом. Но так было недолго – нижние слои тоже овладели «нервами», и медицине пришлось обратиться к ним. Окружной врач из Золингена в 1823 году пишет, что понятие «слабонервность» «в ходу и у благородных, и у ничтожных, даже у неотесанного крестьянина» (см. примеч. 18). Такой же процесс демократизации пережила и неврастения в конце XIX века.

В энциклопедии Крюница<sup>25</sup>, которая в 1806 году дошла до буквы «N», *nervös* все еще означало то же, что *nervig*: «имеющий многочисленные и сильные нервы». В конце века под «нервным» подразумевалось уже ровно обратное. В Англии и Франции значение стало меняться уже в конце XVIII века; прошло не так много времени, и те же признаки появились в немецкоязычном пространстве. О нервах говорилось так, будто они уже сами по себе были чем-то болезненным. Окончание – *ös* придавало прилагательным несколько подозрительный привкус: *potpös*, *ominös*<sup>26</sup>. Теодор Фонтане изобрел слово *schauderös*<sup>27</sup>. Гуфеланд с недовольством отмечал, что если «прежде нервным человеком называли уравновешенного, полного сил сына Адама, то теперь вошло в моду обозначать человеком с нервами существо, которое любое впечатление ощущает тысячекратно, от писка комара падает в обморок, а при запахе розы впадает в конвульсии» (см. примеч. 19). Однако старое значение слова *nervös* еще долго сохранялось наряду с новым. Даже в 1900 году измученный неврастением Макс Вебер пишет о потребности много путешествовать, чтобы «целиком отдаться на волю ярким впечатлениям» и тем самым «совершенно окрепнуть нервами». Его представления оставались еще явным продуктом конца XVIII века, когда истоки раздражительности усматривали в вялости нервов, а во внешних раздражителях видели средство их укрепления. Жене Вебера, уверенной в собственной подверженности «нервным нагрузкам», самодиагностика мужа не казалась убедительной (см. примеч. 20).

Не только электричество, но и открытие вегетативной нервной системы растревожило в XIX веке мысли о нервах. Автономия нижележащих регионов человеческого тела несла в себе нечто непристойное: не свидетельствовала ли она о бессилии духа? Людвиг Бёрне<sup>28</sup> в

<sup>25</sup> Крюниц Иоганн Георг (1728–1796) – врач, естествоиспытатель и лексикограф. Его «Экономическая энциклопедия» выходила с 1773 до 1858 года, являясь сегодня важнейшим источником о системе знаний в период между Просвещением и Индустриализацией.

<sup>26</sup> Напыщенный (помпезный), сомнительный (одиозный) (нем.).

<sup>27</sup> Новообразование от нем. *Schauer* – дрожь, ужас.

<sup>28</sup> Бёрне Людвиг (1786–1837) – немецкий публицист, один из зачинателей жанра литературной критики и в особенности фельетона – прославил колкий и яркий язык его критики, в том числе в адрес Гёте и Гейне. С дискурсом нервов Бёрне был знаком не понаслышке: в Берлине он пытался изучать медицину у одного из предшественников романтической медицины Иогана Кристиана Рейля – скорее всего, придумавшего термин «психиатрия». Тема нервов часто занимала мысли Бёрне, в своем последнем сочинении «Менцель-французоед» он так объяснит свой стиль: «я пишу не так, как другие [чернилами и

1836 году, незадолго до смерти от чахотки, сетовал – что толку ему от «ученой церебральной системы»: «Система ганглиев, эта каналья тела человеческого, присвоила себе всю возможную власть», так что его «талантливейшей голове» приходится повиноваться нижележащим ганглиям. Позже хирург Карл Людвиг Шлейх назвал симпатический нерв «карликовым королем души», который и после солидного роста головного мозга человека «вовсю орудует своими бесчисленными карликовыми кулачками» (см. примеч. 21).

Вплоть до начала XIX века концепция нервов укрепляла идею единства души и тела человека, даже если это единство было не вполне совершенным, ведь люди догадывались, что в теле не всегда царила чистая гармония. Определенная идентичность цельного человека все же сохранялась. Шотландский медик, сторонник научного прогресса, Роберт Верити в 1837 году заявлял: «Человеческое достоинство и превосходство покоится на совершенной и неослабной целостности его нервной системы – на суверенитете его воли и интеллекта». Такой «андеграундный» автор, как Маркиз де Сад в своей «Жюльетте» показывает человека как одну сплошную нервную систему, полностью охваченную конвульсиями либидо и абсорбирующую саму душу. Его персонажи с такой чрезмерностью воплощают принцип «жизнь – это возбудимость», что даже постоянный переизбыток похотливой боли, кажется, совсем не потрепал им нервов (см. примеч. 22).

В XIX веке в дискурсе нервов набирает силу страх перед разрушением нервной системы. В середине века ученые не устают открывать новые нервные центры, нервная система все больше напоминает лабильное государственное образование, на периферии которого сплошь автономные или полуавтономные регионы постоянно учиняют беспорядки. Или здесь просто недооценивались возможности управления за счет коры головного мозга? Врач из Дармштадта в 1892 году коротко и внятно констатировал, что «здоровые нервы» имеет тот, «кто ими повелевает, а не управляется ими»: будто бы сама анатомия мозга и нервов допускала обе возможности (см. примеч. 23). В зависимости от ответа на вопрос, как лучше функционируют периферийные нервные регионы – без помех или под руководством коры головного мозга, – невротикам рекомендовали кому расслабление, кому активизацию воли.

Теперь разберемся, как эти учения о нервах влияли на смысловое наполнение самого понятия и его производных в повседневной речи. Ведь на рубеже XIX–XX веков «нервы» и «нервозность» были у всех на устах: «даже детям они хорошо знакомы: сколько чести тебе, если можешь говорить о нервах, как мама – по собственному опыту!» Расхожая присказка того времени «что у ребенка невоспитанность, то у взрослых – нервы» свидетельствует о том, что считаться нервным было не лишено шарма в глазах детей. Это позволяло извинить собственные и чужие дурные манеры, абстрагироваться от них и требовательно ожидать к себе сочувствия. Тот, кто объявлял нервным своего вечно бранящегося отца, играл роль врача и не воспринимал серьезно отцовский авторитет, связывая при этом одно с другим жестом прощения (см. примеч. 24).

В рассказе Вильгельма Буша<sup>29</sup> «Бабочка» (1895) некая «дородная мадам» изливает доктору свои муки: «Я не знаю, я все время так беспокойна. Каждый час ночью я слышу, как дудит сторож, и я так боюсь мышей и дурных людей; всему виной конечно нервозность». «Новомодное слово! – сказал доктор. В иных случаях это называли нечистой совестью. Те же симптомы». Тогда еще помнили время, когда «нервозность» была чем-то новым. Знаменательно, что это слово звучит не от врача, а от пациентки, а врач не особенно высоко оценивает сей нео-

словами]: я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов, и у меня не всегда хватает духу собственной рукой причинять себе боль и не всегда хватает сил долго переносить ее» (*Берне Л. Менцель-французед / пер. с нем. М., 1938*).

<sup>29</sup> Буш Вильгельм (1832–1908) – знаменитейший немецкий поэт-юморист и рисовальщик. Всемирную известность приобрела его сатирическая книга для детей «Макс и Мориц» (1865), своеобразный комикс времен модерна. Педагоги эпохи Бисмарка считали книгу фривольным произведением, развращающим малолетних. Многие из двустихий Буша закрепились в немецкой культуре крылатыми фразами.

логизм. Заметно, что «нервозность» как субститут «нечистой совести» – это феномен секуляризации языка. Снижение чувства вины в пользу идеи ипохондрии считается общим явлением модерна. Ницше считал очевидным, что христианское «чувство греха и покаянной подавленности» – есть состояние болезненное и нервозное, а знание о том, что у человека нет души, но есть нервная система, «остается уделом лишь немногих самых осведомленных» (см. примеч. 25). Теория нервов предстает атакой на мораль. Некоторые материалисты того времени приветствовали нервы как концепцию, противящуюся старой вере в существование души. Эрнст Геккель<sup>30</sup> считал сознание «неврологической проблемой».

В романе Алисы Беренд «Шпрееман и Ко» (1916) стареющий предприниматель Шпрееман не понимал, зачем «молодым людям вечно надобно все омедивинивать». «Больше всего он сетовал на придуманную нервозность... То, что раньше называли нетерпением или вспыльчивостью, теперь элегантно именуют нервозностью». Фрейд, напротив, в одной из лекций 1917 года замечает, что обыкновенно и, по его мнению, ошибочно «употребляют слова – “нервный” и “боязливый” одно вместо другого, как будто бы они имеют одно и то же значение»<sup>31</sup> (см. примеч. 26). Высокая привлекательность слова *nervös* кроется не в последнюю очередь в его многозначности, ведь из него можно столько всего сделать. «Я нервничаю». «Ты действуешь мне на нервы». «Не будь таким нервным!» Никакое другое расстройство не способно вызвать такой эффект пинг-понга. Называя кого-то «нервным», можно избежать таких унижительных слов, как «несносный» или «малодушный», оставить открытым вопрос о «трусости» или «вздорности». Но главное – создать ауру чувствительной близости и подспудных намеков. «Нервы» могли указывать как на мозг, так и на гениталии: понятие деликатно оставляло висеть в воздухе обе возможности. В спорах между материалистами и спиритуалистами, соматиками и психиками понятие «нервы» с его психосоматическим семантическим потенциалом могли использовать все стороны. Макс Вебер старался тщательно отделить нервы от психики, когда в 1899 году был вынужден отказаться от чтения курса лекций: «неспособность говорить – явление чисто физическое, нервы отказывают, и при одном взгляде на конспекты лекций я просто лишаюсь чувств»<sup>32</sup> (см. примеч. 27). Но в то же время на основе изучения людей «нервных» развивался психоанализ.

То и дело «нервы» оказывались своего рода шифром. Швейцарский невролог и психолог Поль Дюбуа<sup>33</sup> подчеркивал, что «нервозность во всех своих формах» есть «психоз» и все разговоры о «нервах» – эвфемизм: «Мы легко и без всякого стыда признаем себя *нервнобольными*, в то время как признание *душевнобольным* нас коробит». Частные заведения для умалишенных из высших сословий маскировались под «нервные» здравницы. Но поскольку об этом много судачили, какая-то часть табуизированного значения окрашивала и само слово-эвфемизм, так что признание за кем-либо «нервозности» не оказывало ему особой чести. В 1909 году Эрнст

<sup>30</sup> Геккель Эрнст (1834–1919) – в качестве естествоиспытателя и последователя Дарвина занимался проблемой эволюции человека и вошел в научную историю среди прочего как автор терминов «филогенез», «онтогенез» и «экология»; в роли философа он продолжил в социал-дарвинистском ключе размышлять над эволюционной теорией – теперь уже в рамках монизма, который сводит все ментальные и духовные явления к материальной реальности как единственно возможной.

<sup>31</sup> В оригинале Фрейд использует как относительно однозначное *nervös* (нервный, нервозный), так и довольно неоднозначное *ängstlich* (боязливый, робкий, тревожный). Упоминаемая лекция станет 25-й главой под названием «Тревога» (*Angst* – страх) его «Лекций по введению в психоанализ».

<sup>32</sup> Вебер повторно откажется от чтения лекций и в 1903 году, после нескольких месяцев лечения в санатории и долгого пребывания в Италии, и вернется к преподавательской деятельности лишь в 1919 году. Вебер пристально наблюдал за развитием своих психических расстройств и детально зафиксировал весь тяжелый нервозно-депрессивный период 1897–1919 годов. К сожалению «автопатография» не сохранилась – вероятно, она была уничтожена его женой по совету Карла Ясперса из-за опасений, что «дискредитирующие» записи могут попасть в руки нацистов.

<sup>33</sup> Дюбуа Поль (1848–1918) – швейцарский невролог, один из пионеров психотерапии, независимо от Фрейда и Жана и практически одновременно с ними подчеркнул роль биографии пациента в картине болезни и разработал собственную теорию психогенных заболеваний.

Байер, руководитель крупнейшей в Германии народной неврологической клиники<sup>34</sup>, заметил, что для «публики» «нервнобольной» – это то же самое, что «душевнобольной», «в то время как настоящий невротик, неврастеник, активно отвергает мысль о том, что является нервнобольным» (см. примеч. 28). Однако это относилось далеко не ко всем – даже здоровые люди в то время считали себя невротичными. Ведь в «нервную» эпоху нервная слабость формировала в некотором смысле идентичность между *Я* и миром.

Была и еще одна причина, делавшая нервы привлекательными: они могли подразумевать сексуальность, не называя ее вслух. Когда Макс Вебер, обозначавший свои нервные расстройства «демонами», называл евангелие от Отто Гросса<sup>35</sup>, проповедовавшего свободную любовь, «этикой для нервов», идеалом которой был «совершенно банальный здоровый нервный хвостун», – он подразумевал «сексуальную этику» и «сексуального хвостуна». Карл Краус<sup>36</sup> в то время уже вполне открыто использовал маскировочную функцию «нервов», говоря о нестандартных «нервных желаниях», имея в виду гомосексуалистов (см. примеч. 29). «Нервный» дискурс не в последнюю очередь был завуалированным обсуждением сексуальности. Были ли «нервы» в таком случае лишь прикрытием? Иногда да, однако кроется здесь и обоснованное подозрение, что человеческая сексуальность – не автономная зона.

В любом случае сексуальность была возмутителем спокойствия в осознании нервов. С одной стороны, нервная система создавала фундамент для нового эгоцентризма – *Я* как сложнейшая система! С другой стороны, казалось, что это столь усложнившееся эго находится в стадии какого-то небывалого распада.

---

<sup>34</sup> Имеется в виду открытая в 1906 году клиника Родербиркен в Северной Рейн-Вестфалии. С момента своего основания клиника специализировалась на нервнобольных – изначально женщинах, пока в 1910 году не открыла дополнительное мужское отделение на 150 мест.

<sup>35</sup> Гросс Отто (1877–1920) – успел побыть учеником Фрейда, ассистентом Крепелина, пациентом Юнга и поклонником Кропоткина и умер в нищете. Будучи анархистом в психиатрии (и отчасти предвосхищая антипсихиатрическую волну и контркультуру второй половины XX века), он считал механизмы вытеснения важной причиной нервных расстройств и сам отказался подавлять собственное либидо, вступая в половые связи даже с пациентками. Макс Вебер, в журнале которого хотел напечататься Гросс, отверг последнего как ученого, назвав центральную идею Гросса о «свободной любви» – по сравнению с собственной теорией «акосмической любви» – сугубо миссионерством и идеологическим проповедничеством, недопустимым в нейтральной социологии.

<sup>36</sup> Краус Карл (1874–1936) – австрийский писатель, едкий сатирик, великий публицист, ревностный ценитель этических идеалов журналистского дела, издатель легендарного журнала «Факел», автор монументальной драмы «Последние дни человечества», мастер афоризмов и, в целом, главный литературный и культурный критик эпохи. Радкау цитирует сатиру Крауса «Максимилиан Гарден: ликвидация», в которой возмущенный Краус разрывает дружбу с публицистом Максимилианом Гарденом, после того как тот публично разоблачил гомосексуальность некоторых советников Вильгельма II (об этом см. «Мягкая» сторона вильгельминизма и его позор»). Поступок Гардена, имевший печальные последствия, Краус назвал в этой статье «победой информации над культурой».

## Толстокожие люди и стеклянная гармоника: нервная слабость в эпоху чувствительности и романтизма

Мог ли массовый феномен нервозности зародиться еще в конце XVIII века, вместе с «нервным» дискурсом? Это подтвердило бы, что в начале было все же слово, нежели опыт. Как бы то ни было, понятие «нервная слабость» встречается уже тогда. Канадский историк Эдвард Шортер пишет, что уже в конце XVIII века европейцы считали, что живут в «нервном» обществе, и ссылается при этом на немецкого педагога Кампе<sup>37</sup>, который в 1787 году говорил о «наших богатых на фантазию и нервные болезни временах» (см. примеч. 30).

Действительно, праформы того, что позже стали понимать как «нервозность», появляются вместе с началами психологического самоотражения. Так, автобиография бывшего священника Адама Бернда (1738) была написана, как следует из ее названия, чтобы передать словами «по большей части неведомый еще телесно-душевный недуг»<sup>38</sup>. Кое-что из этого «недуга» напоминает привычную меланхолию. Сам Бернд воспринимал себя скорее как человека смешанного темперамента, «сангвинико-меланхолика». Глухое, парализующее уныние никогда не захватывало его надолго: в пору своей приходской деятельности это был успешный проповедник в суетном ярмарочном Лейпциге. В чем-то Бернд напоминает современную жертву стресса: уже ребенком он наблюдал у себя навязчивое желание непременно закончить определенную работу к конкретному сроку. Он даже описывает опыт злоупотребления новым наркотиком – кофе: «Голова моя кругом идет, а мысли с огромной скоростью сменяют галопом одна другую, и боюсь, что вот-вот – и силы покинут меня в столь огромной душевной смуте». По сути, он уже рассуждает на стандартную в грядущих дискуссиях о нервном раздражении тему, а именно – почему «слабые нервы» отличаются особой возбудимостью (см. примеч. 31). Стало быть, в каком-то виде «неврастеничный» самоанализ существовал уже в середине XVIII века. Однако это были единичные случаи, и в языке для нового ощущения еще не было собственного понятия.

Для автора рецензии на автобиографию Бернда в 1787 году понятие имелось: с его точки зрения, автор принадлежал к «ипохондрикам». Позже ипохондрия будет считаться наиболее именитой предшественницей неврастении. А до XVIII века и в его начале под ипохондрией понималось расстройство по сути физическое, и если оно и влияло на состояние души, то истоки его все же надо было искать в области желудка. И только во второй половине XVIII века ипохондрия стала все больше смещаться в сферы души, постепенно обрастая современным значением навязчивых воображаемых болезней. С таким расстройством можно было попасть в очень недурную компанию, здесь были и Фридрих Великий, и Иммануил Кант. Шиллер считал ипохондрию «болезнью мыслителей, глубоко чувствующих умов и большинства великих ученых». Он не знал, «в теле или душе» нужно искать «первоисточник болезни», но склонялся ко второму варианту. Точку зрения, что ипохондрия – лишь веяние моды в угоду репутации, никак нельзя назвать общим мнением. Чем больше обнаруживалось связей с психикой, тем настойчивее она ассоциировалась с душевной болезнью. Автор диссертации 1755 года (г. Халле) считал понятие «ипохондрик» едва ли не оскорбительным (см. примеч. 32). Так как одной из причин недуга считался напряженный умственный труд, ипохондрия напоминала

---

<sup>37</sup> Кампе Иоахим Генрих (1746–1818) – писатель и издатель (ему принадлежат многотомная «Детская библиотека» и знаменитая адаптация «Робинзона Крузо»; считается одним из основателей современного жанра детской и юношеской литературы), лингвист (отстаивал «онемечивание» иностранных слов в рамках просветительских идей) и педагог (был, среди прочего, домашним учителем Вильгельма и Александра фон Гумбольдтов).

<sup>38</sup> Отрывки из «Моего жизнеописания» были напечатаны в журнале экспериментальной психологии Карла Филипа Морица «Gnothi sauton».

более позднюю неврастению, однако здесь еще не преобладало мучительное чувство измотанности и перегруженности.

Известный педагог Иоганн Бернхард Базедов в 1783 году опубликовал в первом томе «*Gnothi sauton*», первого в Германии психологического журнала, некоторые «добровольные признания». Так, он сообщает, что при желании чего-то добиться ему приходится «работать не иначе как с невероятным напряжением, отнимающим почти весь сон»: «Из-за этого я, в конце концов, впадаю в такое состояние, что боюсь потерять все душевные силы, даже сам разум, если не заставлю себя прервать работу и отвлечься». С сегодняшней точки зрения это классическое переутомление. Однако исполненные трудовой этики реформаторы той эпохи, считавшие праздность корнем большинства недугов и неприятностей, такой диагноз не одобрили бы, так что этот страстный педагог решил в качестве терапии учредить собственное учебное заведение и открыл образцовую школу – школу филантропии в Дессау. Но когда и этот вид терапии оказался непригодным, он стал объяснять свои душевные срывы не трудовым рвением, а меланхолией своей матери! Объяснять разрушение нервов систематическим перенапряжением еще не было привычной практикой, как в конце XIX века. Что касается Базедовской школы филантропии, то, например, Гердеру она казалась «ужасающей», неким «парником», где в нездоровой мере ускорялось умственное развитие молодежи, – такому как Базедов, он «и теленка не доверил бы на воспитание, не говоря о людях» (см. примеч. 33).

В 1947 году французский историк Анри Бруншви́г первым возвел «нервозность» сентиментальной Германии эпохи раннего романтизма в ранг важного исторического факта и вписал его в широкие контекстные связи. Фонтанируя впечатлениями, он описывает эту нервозность как начало германской беды и как психическую эпидемию, причем в конечном счете нет никакой разницы – была ли она подлинным, воображаемым или искусственно созданным расстройством: иногда это было так, иногда иначе, а иногда все вместе. Как бы то ни было, политический исход был один. Решающим с его точки зрения было то, что нервозность сыграла ведущую роль при уходе немцев в тот иррационализм, которым они отреагировали на политический и экономический кризис. Этот иррационализм как медленная и незаметная болезнь истощил и изъел немецкое Просвещение (см. примеч. 34).

Однако многое в этой картине не сходится. Внимание к нервам и их расстройству развивалось ни в коем случае не против просвещения, а в согласии с ним. И было оно вовсе не особым путем Германии, а черпало вдохновение из Англии и Франции. Некоторые пассажи из «Исповеди» Руссо (1781), самом знаменитом французском самоанализе столетия, гораздо ближе к тому, что сегодня понимается под «нервозностью», чем любые немецкие автобиографии того времени. Руссо уже сетует на то, что граждане в вечной спешке своей перетруждаются до смерти (см. примеч. 35), тогда как в Германии той эпохи подобных признаний еще поискать. Кроме того, увлекаясь жалобами на нервы, датированными рубежом XVIII–XIX веков, нельзя забывать об их количественной несопоставимости с целым массивом свидетельств, оставленных на рубеже веков XIX–XX.

Тем не менее целый ряд общих условий, благодаря которым с 1880 года начала складываться карьера неврастения, существовал еще за 100 лет до этой даты. Уже в XVIII веке зарождается культура гигиены. Здоровье стало делом общественным – здоровье в самом широком смысле, включая благополучие души и нервов. В размышлениях о том, что поддерживает целостность человека, внимание направлялось на нервы. Поскольку ни учение о нервах, ни учение о душе еще не подверглись специализации, и психосоматическое мышление было еще само собой разумеющимся, то концепт неврастения не противоречил никакой господствующей доктрине. Напротив, предположение, что внешние раздражители и растревоженные эмоции могут привести в смятение дух и тело, не доставляло той эпохе никаких теоретических сложностей. Лежавшая в основе более поздних страхов перед неврастением уверенность в ограниченности жизненной силы и необходимости правильно ее расходовать, в 1800 году уже существо-

вала. И уже тогда люди осознавали, что впереди их ждет бурное переломное время, а потому были готовы к новым состояниям души (см. примеч. 51).

Уже Гуфеланд упоминает «ту несчастную деловитость, которая овладела теперь значительной частью рода человеческого» как элемент, сокращающий срок жизни, поскольку она «ужасающим образом» ускоряет «самопотребление» человека. Как следует из крылатого выражения Бенджамина Франклина «время – деньги», уже вторая половина XVIII века характеризовалась стремлением к экономии времени; предпосылка для современной суеты и спешки в принципе уже была. Стимуляторы той эпохи – кофе и чай, противодействовавшие естественному чувству усталости, также распространялись и бурно обсуждались в XVIII веке. Знаменитый голландский врач Бонтеку<sup>39</sup> рекомендовал своим пациентам выпивать до 200 чашек чаю ежедневно, что в целом шло на «ура», пока его не разоблачили как наемника Ост-Индской компании. В 1788 году один немецкий врач писал, что Голландия обязана «бесчисленной армией нервных симптомов» двум врачам, «которые в пользу голландской Ост-Индской компании считали здоровым разжижение крови и потому ввели в практику частое употребление горячего чая». Правда, стоит добавить, что и в кампаниях против чая и кофе проявлялась не только забота о здоровье, но и интерес к ограничению импорта. Гуфеланд в 1790-м писал, что «турки и другие ближневосточные нации», которые «ставят свою жизнь в зависимость от постоянного употребления кофе и табака, сладострастия и разврата», тем не менее свободны от судорог, ипохондрии и нервной слабости – и почему же? Потому что они поддерживают стародавнюю традицию купальной культуры (см. примеч. 36).

Здесь мы оказываемся в центре другой важной темы – воды! Курсы купания и водолечения стали узловым пунктом в разговорах о нервах и причиной, почему «нервозность» часто сигнализировала не только о недугах, но и о желаниях.

Уже около 1800 года, как и через 100 лет после этого, для обеспеченных пациентов нервная слабость была весьма удобным расстройством, ведь она служила веской причиной для поездки на воды. С 1770 года на водах юго-западной Германии нервные расстройства «внезапно стали темой номер один». Венский доктор Паскаль Ферро открыл в 1781 году водолечебницу на Дунае, будучи под впечатлением от того притока посетителей, который пережила первая крупная немецкая водолечебница, основанная в 1777-м на Рейне под Мангеймом. Он говорит не только о «толпе народа», но и «ликновании врачей, заполучивших-таки средство, коим можно было положить конец распространившейся повсюду слабонервное™, мучительной для врача не менее, чем для пациента». Очевидно, «нервная слабость» и тогда не была изобретением врачей – это был недуг, который обнаруживали у себя дилетанты и, вооружившись этой находкой, действовали на нервы врачам. Артур Шопенгауэр, 36 лет, мать которого любила ездить на воды, писал одному другу, что всю зиму промучился геморроем, подагрой и нервами. Теперь он «восстановился, но нервы все еще столь слабы», что «от дрожи в руках» он почти не может писать, – только «брожу как тень, засыпаю при свете дня» (см. примеч. 37).

Следует ли из этого, что «модерная нервозность» началась еще во времена Гёте? Нет, как раз такое умозаключение было бы ложным. Если посмотреть на эпоху в целом, с удивлением обнаружишь, насколько нервозный опыт 1800 года отличался от более позднего – несмотря на то что многие предпосылки невращения были уже тогда. Здесь главное – не попасться на удочку таких понятий, как «слабонервность» и «нервозность», – если собрать все, что ассоциировалось с ними на рубеже XVIII–XIX веков, то попадаешь в мир, совершенно отличный от мира невращения начала XX века. В контексте 1800 года при всей неразберихе медицинских воззрений на природу нервных расстройств сложилось мнение (по крайней мере в немец-

---

<sup>39</sup> Бонтеку Корнелиус (настоящее имя Корнелиус Деккер) (1647–1685) – голландский врач и лейб-медик Великого курфюрста (Фридриха Вильгельма I Бранденбургского). Основной заслугой Бонтеку называют распространение кофе, шоколада и чая в Берлине при дворе курфюрста.

коязычном пространстве), что среди форм их проявления преобладает не перевозбуждение, но «тупость». «Притупленность и безжизненность» нервов приводят к более тяжелым последствиям, чем вызванные духом активности «нервные жалобы», писал в 1793 году Кант Лихтенбергу<sup>40</sup> – все равно что в открытую дверь ломился. Для Гуфеланда «тупость», «пустота и бесчувствие» относились к самым неприятным признакам той «ипохондрии и слабонервности», «от которых постепенно увядает наша эпоха» и которую он хотел преодолеть с помощью вод и купален. Эту ипохондрию он изо дня в день замечает даже за простыми людьми, будь то крестьяне или кузнецы, «которые жалуются на слабость, тяжесть и скованность членов, стеснение сердца и метеоризм» (см. примеч. 38).

Автор «Систематического описания всех целебных источников и вод Германии» (1768) заверяет: «Врачи, к сожалению, каждый день узнают, как тяжело и мучительно трудно возвращать вялым, ослабленным и размягченным волокнам нервов и мускулов естественный тонус и надлежащую крепость». Вдобавок это требует срочности, поскольку снижение тонуса, напряженности нервов и жил влечет за собой «бездны болезней». «Единственные средства» против этого – «стальные воды», «марциальные воды», чьи железо и «укрепляющая сила» вернут телу здоровье. «Стальным источником» славился Пирмонт, несмотря на свою удаленность ставший в XVIII веке наиболее изысканным из немецких водных курортов. В 1823 году Гуфеланд отмечал, что «правлящий класс» в Пирмонте составляют «слабонервные»; он отличает их от ипохондриков, преобладавших в Карлсбаде. Исходя из этого, рассмотрим слабонервных пациентов старого типа на примере Пирмонта (см. примеч. 39).

Известнейшим специалистом по водам в Пирмонте был доктор Генрих Матиас Маркард, практиковавший там с 1775 года. Многие считают его и вовсе крупнейшим специалистом своего века. Он придавал особое значение тому, чтобы удержать подальше от Пирмонтского «стального источника» больных, плохо переносивших железистую воду, и призывал врачей для начала разобраться в том, чем на самом деле страдают их пациенты: вялостью нервов или же, напротив, излишней их возбудимостью. Его позиция проливает свет на тогдашние национальные особенности учений о нервах – так, он признает себя сторонником французской медицины и критикует немецких и английских неврологов, у которых «почти все» вращается «вокруг ошибочных идей о дряблости нервов и восстановления их тонуса с помощью восстанавливающих средств». Но подобная полемика – это скорее игра на публику, с помощью которой Маркард демонстрирует свою независимость от доходов Пирмонтского источника. Маркард тоже придерживается мнения, что «в наши дни» наиболее широко распространенным «болезненным отклонением от естественного состояния», «особенно в высших классах» является «вялая конституция, утраченный тонус (*fibra laxa*)».

Он сам, перегруженный работой врач и ученый, олицетворяет современный тип беспокойного, возбудимого, раздражаемого различными обязательствами, раздраженного и воинственного невротика. Явно по собственному опыту он злится на то, что «здоровые толстокожие люди, способные переварить все что угодно, объясняют любые расстройства, связанные с повышенной возбудимостью, воображением или вообще аффектацией». «Тупая природа этих толстокожих не позволяет им понять, что человеку необязательно лежать в постели, дрожать в лихорадке или задыхаться от чахотки, чтобы испытывать ужасные страдания». Маркардовские «раздражительные люди» выделяются среди других мучительной неугомонностью: «они никогда не выдерживают плана; сила их воображения, всегда волнующая и мучительная, каж-

<sup>40</sup> Лихтенберг Георг Кристоф (1742–1799) – сегодня известен прежде всего как автор блестящих афоризмов, опубликованных, правда, посмертно, – при жизни же был математиком и первым профессором экспериментальной физики в эпоху Просвещения. Лихтенберг сводил саму суть человека к его нервам: «Человек в своей сути напоминает луковицу с тысячами корней, нервы живут и чувствуют лишь в немодном, все остальное служит тому, чтобы корням было удобно держаться и продолжать свой рост, т. е. все что мы видим – это лишь горшок, в который высажен человек (нервы)» (*Lichtenberg G.C. Vermischte Schriften. Erster Band. Göttingen, 1800. S. 406*).

дый день представляет им их недуг в новом обличье» (см. примеч. 40). Заметно, что и в XVIII веке наблюдается нечто сходное с пришедшей позже «нервозностью». Однако в Германии это явление еще не было массовым феноменом и не нуждалось в специальном термине.

С 1780-х годов у Пирмонта появляется сосед и конкурент в лице амбициозного водного курорта Дрибург, который тоже имел железистый источник, но в отличие от великосветского Пирмонта предлагал себя в качестве сельской идиллии для работающей буржуазии. Здесь более, чем в Пирмонте, господствовал идеал покоя. Как писал в 1792 году тамошний врач Иоахим Дитрих Брандис, в Дрибург приезжали, чтобы «насладиться сельской жизнью, сбросив с себя ярмо тяжкого труда, вздохнуть полной грудью» и «поправить здоровье». Но и Брандис на своем буржуазном курорте не создает последовательную терапевтическую философию покоя и умиротворения перевозбужденных нервов. В принципе, и он полагает, что «общая дрожь», возникающая при помощи холодной воды, целительна для «нервной системы», ведь целью лечения является «потрясение нервной системы».

В 1837 году будущий натуропат Генрих Франке, известный под псевдонимом Рауссе, вернувшись из США с «почти до сумасшествия перевозбужденной нервной системой», отправился в Гrefенберг к специалисту по водолечению Винценцу Присниццу<sup>41</sup>. Там он убедился, что холодная вода приводит его нервы в еще большее возбуждение, и основал свой собственный водолечебный курс для перевозбужденных. Однако лидерство сохранилось за Присниццем (см. примеч. 41).

Помимо водолечения, в Германии того времени также преобладала тенденция высоко ценить раздражение нервов в качестве целебного средства, пусть и с некоторыми оговорками. Не случайно слово *reizend* (возбуждающий,), изначально вполне нейтральное, получило в то время свой современный смысл – «привлекательный, обаятельный, чарующий». Некоторые свидетельства той эпохи создают впечатление постоянной жажды «возбуждений». Покельс, соиздатель журнала «*Gnothi sauton*», в одной из сносок к жизнеописанию Адама Бернда делится своей мечтой о бесконечном возбуждении нервов: «Можно представить, что наше тело когда-нибудь станет настолько утонченным, что окружающий его эфир будет в состоянии вызывать в нем постоянное и радостное щекотание нервных окончаний» (см. примеч. 42).

«Наиболее волнующим событием медицины того времени» (Нелли Тсойопулос) была теория шотландского эксцентрика Джона Брауна<sup>42</sup>, изложенная им в книге «*Elementa medicinae*» (1780). В Германии она вызвала больше эффекта, чем у себя на родине и во Франции: в немецкой медицинской мысли с 1793–1794 годов она стала «самой обсуждаемой теорией» в принципе, а Браун – «героем дня». Браун объяснял любые расстройства парой поляр-

<sup>41</sup> Присниц Винценц (1799–1851) – немецкий целитель, родоначальник водолечения (гидротерапии). Будучи простым крестьянином, он не оставил письменных свидетельств своих методов, которые распространялись через записи пациентов и других врачей. Лечение водой, открытое им совершенно случайно, оказало эффект разорвавшейся бомбы – за короткое время желающих исцелиться у «водного доктора» стало так много, что в 1822 году он открыл первую водолечебницу. Феноменальный успех простого крестьянина в роли врача не мог не вызвать зависть у профессиональных коллег, в 1829 году обвинивших его в шарлатанстве, однако, так как вода не считалась лекарственным веществом, Присниц был оправдан судом, а в 1831-м получил официальное разрешение на открытие бальнеологических лечебных купален. После смерти Присница эстафету лидерства перенял «водоцелитель» Себастьян Кнейп (1821–1897), чья книга «Мое водолечение» (1886) переводилась на иностранные языки и расходилась миллионными тиражами. Заслуга Кнейпа в истории водолечения заключается в том, что он дополнил методы Присница естественными терапевтическими средствами, а также, сам будучи дилетантом (Кнейп был священником), привлекал профессиональных врачей для усовершенствования методов лечения. Как бы то ни было, именно благодаря Присниццу водолечебницы прочно утвердились не только в народной и научной медицинской культуре (в виде популярных водолечебниц), но и в психиатрии (вспомнить хотя бы так называемый душ Шарко).

<sup>42</sup> Браун Джон (1735–1788) – шотландский врач и натурфилософ, революционным новаторством которого была идея, что все жизненные явления зависят от возбуждаемости, присущей всем органическим телам, что означает, что в зависимости от заболевания, в терапии следует применять средства, снижающие или усиливающие возбудимость. Основанная на этих представлениях медицинская система была названа именем их создателя – «браунизм». Германия, по словам психолога Макса Дессуара, стала «главной ярмарочной площадью браунианцев» (*Dessoir M. Geschichte der neueren deutschen Psychologie. Berlin, 1902. S. 511*).

ных понятий – стения и астения. Изобилие силы, вызванное стенией, лечилось лишением возбуждения, в то время как бессилие, вызванное астенией, нуждалось в дополнительном возбуждении. То есть теоретически из браунизма можно было вывести также учение о перевозбуждении и терапии покоем. Но привлекательность браунизма в Германии покоилась на учении об астении, из которой вытекало то же, что из популярного отождествления жизненной силы и возбудимости: целительное действие внешних раздражителей. Более позднее понятие «неврастения» хотя и созвучно брауновской «астении», несло в себе, скорее, противоположную тенденцию. Авторитетный английский психиатр Томас К. Оллбат еще в 1895 году был сторонником прежней теории витального значения возбудимости. Показательно, что он считал ее более интересной, чем новое учение о неврастении, утверждавшее, что переизбыток возбудителей в эпоху модерна несет с собой болезни: «Нет более претенциозной чуши, чем крик о том, что наши нервы слишком чувствительны, слишком возбудимы. [...] Имею я право спросить, в чем же тогда состоит ценность наших нервов, если не в их возбудимости? Чем возбудимее, тем эффективнее: как породистая лошадь отличается от осла, так и цивилизованный человек выделяется именно возбудимостью своих нервов» (см. примеч. 43).

Нашелся и тот, кто подхватил и развил совсем другую мысль из браунского движения. Клеменс Меттерних, государственный канцлер Австрийской империи, державший в своих руках бразды правления в течение 30 лет после падения Наполеона, первым осознал политику как неврологический курс высокого стиля, как систематический курс лечения покоем для перевозбужденной Европы. Себя он любил называть «врачом в большом мировом госпитале». Не случайно он провозгласил свои «Карлсбадские постановления» для подавления революционных настроений не где-нибудь, а на одном из водных курортов. В 1800 году он даже поручился 25 тысяч франков за погрязшего в долгах Франца Йозефа Галля<sup>43</sup>, чтобы тот смог напечатать второй и третий том своей анатомии и физиологии нервной системы. Всю жизнь он оставался поклонником учения Брауна о возбудимости (см. примеч. 44). Ирония в том, что терапевтическая философия Меттерниха в отличие от Маркарда не подкреплялась собственным опытом – наоборот, Меттерних, как, пожалуй, ни один другой государственный муж в мировой истории был воплощением непоколебимого спокойствия и невозмутимости. Во всем и всегда он находился в гармонии с собой – будь то политика, философия, здоровье или сексуальная жизнь. Ничто не вызывало в нем раздражения. Во время Битвы народов под Лейпцигом он удалился в любовное гнездышко. Его любимой песней была «Радуйтесь жизни», в то время как своего современника Бетховена он не любил. Его высокомерно-улыбчивое спокойствие действовало на окружающих как провокация и вызывало глубокую ненависть молодого поколения, исполненного кипучего беспокойства. Меттерних так и сконструировал болезнь Европы, чтобы порекомендовать ей в качестве лекарства самого себя со своей политикой реставрации. Он был убежден в том, что подавляющее большинство людей в принципе не желает ничего кроме спокойного наслаждения, и, вероятно, был прав. Однако у молодых германских студентов меттерниховский покой ассоциировался с кладбищем, а не воспринимался как непосредственная релаксация удовлетворенных чувств. Это был первый крупный исторический провал квиетистского понимания мира. Позже, в начале XX века, многочисленные попытки лечить «нервную эпоху» сеансами покоя стали еще одним фиаско подобного рода.

На рубеже XVIII–XIX веков человеком развитым и полноценным считался человек возбудимый и чувствительный – по крайней мере в глазах немецкой образованной буржуазии. В энциклопедии Крюница под словом «хладнокровный» (1789) обнаруживается весьма сдержанная положительная оценка: похвалы достойно только такое хладнокровие, которое исходит из силы разума, но не то, что коренится в природной бесчувственности, «так как бесчувствен-

<sup>43</sup> Галль Франц Йозеф (1758–1828) – немецкий врач и анатом, создатель френологии, по идее которого центры душевной жизни сосредоточены в мозговых извилинах, а различия в мозговых извилинах отражаются на внешней форме черепа.

ный человек есть почти всегда несчастное, ни к чему не пригодное существо». «Мы стремились стать чувствительнее и печальнее», – описывает Иоганн Генрих Фосс<sup>44</sup>, один из членов гёттингенского «Союза Дубравы», прощальную сцену в сентябре 1773 года, когда ее участники объединяли свои души песнями, объятьями и пуншем, пока не полились потоки слез. Нервное перевозбуждение, о котором написано в литературе того времени, было такого рода, который ценили очень высоко, видели в нем особый дар и вызывали у себя намеренно, что не исключало, правда, и того, что оно рано или поздно выходило из-под контроля и вело собственную жизнь. «Возбудимые, слабые, перенапряженные нервы», – признавал Жан Поль<sup>45</sup>, истерия и ипохондрия это «разные имена единственной любимой моей болезни» (см. примеч. 45).

По распространенному убеждению, слабые и в то же время возбудимые нервы особенно свойственны женщинам. Кто-то над этим посмеивался, но Пьер Руссель, автор «Исследования о чувствительности», воспевал эту «слабость и чувствительность» как «подарок природы». Марианна Эрман, анонимный автор труда «Философия женщины» (1784), утверждала даже, что большинство мужчин «могут только играть в любовь, подражать ей, потому что их нервы, в палец толщиной, не дают им по-настоящему пережить это священное чувство». Как возбуждение нервов и души могло обрести вид религиозного озарения, так отзвук культа чувствительности можно видеть в религиозных движениях XIX века, где «тупость» была врагом, а «возбуждение» – целью (см. примеч. 46).

В 1770-е годы появляется порожденное новой технологией изысканное средство возбуждения нервов – стеклянная гармоника. Это был музыкальный инструмент, состоящий из вставленных друг в друга, вращающихся вокруг металлического стержня стеклянных полусфер, приводимых в движение педалью и звучавших от прикосновения влажного пальца. Бенджамин Франклин технически усовершенствовал инструмент, «но настоящей его родиной была Германия». Стеклянная гармоника предъявляла высокие требования к нервам слушателей и еще более высокие – к нервам исполнителя: слепой Марианне Кирхгеснер, прославившейся искусством игры на ней, пришлось прервать свою карьеру виртуоза-исполнителя из-за проблем с нервами. Так приобретались первые знания о допустимых нагрузках на определенные нервы. Гегель заметил в своих лекциях, посвященных эстетике, что при слушании стеклянной гармоники «у многих болит голова», а Эрнст Теодор Амадей Гофман сравнил ее звучание с «царапаньем ножа по оконному стеклу». Понятно, что через какое-то время люди уже не могли выносить этот инструмент. Однако это продолжалось довольно долго. Еще в 1839 году композитор Иеронимус Трун воспевал «тонкую, электрическую нервную систему» скончавшегося в 1822 году Теодора Гофмана (см. примеч. 47).

Культ возбудимости накладывал отпечаток – как же иначе – на эротический опыт. Американский ученый Курт Р. Эйслер в своем «психоаналитическом исследовании» о Гёте сделал обоснованное предположение, что вплоть до зрелого мужского возраста Гёте страдал от преждевременного семяизвержения, которое могли вызвать даже поцелуи. Эйслер предполагает, что «психологическая конституция его личности задавала тенденцию к полному эмоциональному ответу даже на минимальный раздражитель». Столетие спустя с такими особенностями он был бы признан неврастеником. Однако в свою эпоху он, видимо, не чувствовал себя потенциальным пациентом. Вполне уверенный в себе, он в 1781 году, 32 лет от роду, говорит своей матери о «размахе и скорости» своей натуры, которая в «тесном и медленном буржуазном» кругу приводила бы его «в бешенство», тогда как свобода жить в соответствии со своей природой всегда благоприятно сказывалась на его здоровье. Если чувство уверенности в себе базировалось на чувствительности, то изливание семени под влиянием одних поцелуев воспри-

<sup>44</sup> Фосс Иоганн Генрих (1751–1826) – немецкий поэт и переводчик, филолог. Описанная сцена считается одним из ключевых моментов в становлении немецкого романтизма.

<sup>45</sup> Жан Поль (1763–1825, настоящее имя Иоганн Рихтер) – немецкий писатель, сентименталист и преромантик.

нималось скорее как признак тонкой натуры. И все же во время итальянского путешествия Гёте изменил свою философию жизни и вместе с ней, по Эйслеру, сексуальное поведение (см. примеч. 48). Если романтизм он теперь воспринимал как нечто болезненное, то это указывает не только на эстетическое, но и на витальное неприятие безудержных чувственных излишней.

В 1840 году, когда в литературе романтизм уже стал тривиальностью, в Пруссии вступил на престол записной романтик, настоящий продукт сентиментального воспитания – Фридрих Вильгельм IV. Его сентиментальность была очевидно подлинной. Лишь с «громкими рыданиями» он сумел подписать смертный приговор бывшему бургомистру города Шторкова по фамилии Чех, который совершил на него покушение и которого Фридрих не смог принудить ни к единому слову раскаяния, что дало бы возможность его помиловать. Поначалу он очаровал берлинцев своей мечтательной риторикой; но уже незадолго до мартовской революции 1848 года его изображали на карикатурах как короля-шампанское, стрелявшего пробками из горла. Генрих фон Трейчке с дистанции бисмарковской эпохи описывает Фридриха Вильгельма IV, как «последний изящный цветок долгой, только что преодоленной эпохи эстетической чрезмерности». Он намекает и на его импотенцию: «мужской силы тела и души» этот правитель с одутловатым станом и «безбородым, со слабыми чертами лицом» был лишен. Бисмарк замечал с отвращением, что если можно было бы зажать в кулак этого короля, то «в руке осталась бы только пригоршня слизи».

Как позже Вильгельм II, так и Фридрих Вильгельм IV с его непостоянством и неустойчивой фантазией остался в истории прототипом политического неврастеника. Но если Вильгельм II с детства был воспитан воспринимать свою парализованную руку как тяжелый изъян и старался компенсировать его молодецкими замашками, Фридрих Вильгельм IV не выказывал ни следа подобных наклонностей. Это помогает понять совсем иной характер той эпохи. Для таких людей, как Трейчке, его веселое спокойствие было воистину «загадкой». Он абсолютно не был склонен скрывать свою возбудимость под респектабельной маской милитаризма и выказывал необычайную для прусского короля степень миролюбия и неприязни к войне. Глубочайшим провалом его биографии считается 19 марта 1848 года, когда он, испугавшись пролитой на баррикадах крови, приказал вывести войска из Берлина. Но с современной точки зрения возникает вопрос – не доказывает ли как раз эта «слабость», предотвратившая дальнейшее кровопролитие, благоразумие и добрый инстинкт короля? (См. примеч. 49.) Нежность нервов, может, и была бы природным даром – да только если не отказываться от нее.

Чувствительность с самого начала то и дело оказывалась в немилости. Как бы ни ценилась возбудимость, в воздухе постоянно витала мысль о том, что перевозбуждение вредно. Иоахим Кампе считал «лихорадку сентиментальности» «душевной чумой» и предупреждал, что через намеренное «возбуждение нервной системы» человек заболевает, сам того не замечая. Эмили фон Берлепш<sup>46</sup>, анализируя условия счастливой семейной жизни (1791), резко осуждает «расчувствования», как «медленный яд», «разрушивший уже немало женских нервов». Демонстративная грубость студенческих союзов выглядит как сознательная провокация против изнеженности. Людвиг Бёрне, хорошо осознававший собственную возбудимость, испытывал отвращение к «жалкой нервной философии» своего времени, противопоставляя ее сильному человечеству минувшей эпохи (см. примеч. 50).

Дело в том, что в Германии той эпохи переизбыток раздражителей не был насущной проблемой. Мыслящие люди ощущали иную неприятность – нехватку волнений и пронизывающую все и вся вялость. Об этом наглядно рассказывает Жермена де Сталь – женщина стремительная и яркая: «Когда приезжаешь из Франции, с трудом привыкаешь к медлительности

<sup>46</sup> Берлепш Эмили фон (1755–1830) – немецкая писательница и защитница прав женщин, близкий друг Иоганна Гердера. В своей главной работе «Условия счастливой семейной жизни» она задолго до теорий феминизма выступала за независимость женщины в браке и создание автономной женской культуры. Послужила прототипом эмансипированной графини в романе «Титан» Жан Поля, с которым была помолвлена.

и вялости немецкого народа. Он никогда не торопится, он повсюду обнаруживает помехи, и возглас “Это невозможно!” в Германии услышишь в 100 раз чаще, чем во Франции». «В Германии печи, пиво и табачный дым образуют вокруг людей из народа тяжелую горячую атмосферу, которую они совсем не любят покидать». Нельзя путать сознание смены эпох, которое пронизывает немецкую литературу рубежа XVIII–XIX веков, с изменением будничного ритма. В крайнем случае, некоторые стали воспринимать темп, считавшийся прежде нормальным, излишне медлительным – как тот же Бёрне, который в 1821 году в своей «Монографии немецкой почтовой улитки» высмеял почту, увидев в ней родственника этого моллюска. Чувство, что человека против его воли куда-то тащат и торопят, было еще редкостью. Зато обнаружилась другая опасность для тела и души – скука. Лишь много позже, в «нервную эпоху», люди научились ценить ее как средство исцеления (см. примеч. 51).

В XVIII веке ко времени можно было относиться столь беззаботно, потому что лишь немногие знали, какое мучение доставляет расплывчатый по минутам день. Почтовая карета даже между Берлином и Дрезденом ходила тогда раз в 14 дней, и когда у нее появилось расписание – уже инновация! – то сначала его установили не по минутам, а лишь по часам, да и то не часто соблюдали. Скорость была чем-то желанным, а не устрашающим. «Богатство и быстрота – вот, что восхищает мир и к чему стремится каждый», – пишет Гёте своему другу и композитору Карлу Цельтеру в 1825 году. Но изобретенный мюнхенским анатомом Зёммерингом электрический телеграф, сделанный им, как он сам думал, в подражание нервной системе, не сделал карьеру даже в вихрях наполеоновских войн, а после войны интерес к нему и вовсе исчез: «Еще не было прямой потребности в такой срочной коммуникации». «У нас масса времени», – восклицал Вольфганг Менцель, немецкий литературный авторитет эпохи Бидермейера, назло Людвигу Бёрне. Даже сторонник строительства железных дорог в Пруссии в 1843 году замечал, что «у нас не хватает скорее предприятий, чем времени, чтобы что-то предпринимать»: экономия времени еще не стала смыслом железной дороги. Когда в ночь на 1 января 1834 года заработал Пруско-Германский таможенный союз, и на внутригерманских границах поднялись вверх шлагбаумы, длинные очереди грузовых повозок тронулись в путь под шелканье хлыстов и ликование народа: новые скорости, все еще не такие высокие, были источником надежд, а не страха (см. примеч. 52).

В некоторых протоиндустриальных регионах уже существовал тип «ипохондрики», который указывает на психосоматические нарушения современного типа, развивающиеся вследствие недостатка движения, монотонно-напряженного внимания и непрерывного возрастания темпа труда. Поучительный пример содержит хрестоматийный труд итальянского врача Бернардино Рамадзини (1633–1714) о профессиональных заболеваниях, переработанный и переведенный на немецкий язык Иоганном Кристианом Готтлибом Акерманом (1780). Акерман служил в то время городским врачом в фогтландском городе Цойленрода, население которого состояло в основном из чулочников, так что он смог добавить в ученый труд Рамадзини собственную главу об этой профессии. Там говорится: «Многие чулочники не менее ипохондричны, чем самый наиученейший муж. Их мысли почти всегда развратны; они [...] по большей части в высшей степени своевольны, вспыльчивы, их трудно уговорить, убедить», и при этом они «в сравнении с другими необычайно ослаблены». В чистом виде та самая «возбудимая слабость», которую позже назовут «неврастенией». Чулочный станок, в то время «одна из наиболее искусных машин в мире», создавал трудовую нагрузку современного типа – не требуя особой физической силы, он требовал утомительной и монотонной концентрации на сложной аппаратуре. Поштучная система оплаты, соответствовавшая мануфактурной системе труда, служила стимулом работать как можно быстрее (см. примеч. 53).

Экономист Адам Смит гораздо проницательнее большинства медиков своего времени осознал, что стимулирование оплаты труда на высокоприбыльном предприятии угрожает здоровью работников, хотя такое мнение и не подходило либеральной вере в способность эконо-

номики к самоконтролю. «Хорошо оплачиваемый сдельный рабочий, – пишет Смит, – часто склонен перетруждаться и таким образом в течение всего нескольких лет теряет свое здоровье». Перед его глазами были Лондон и Манчестер. Но в Германии большинство рабочих еще думали иначе. К замешательству многих предпринимателей, они были на удивление непритязательны, и даже стимулированием труда было не легко нарушить их покой. После 1815 года конкуренция с Англией вынудила напрячь силы, но после первого шока значительная часть немецкой промышленности сумела вполне сносно обустроиться в нишах, не занятых английскими фабриками, и продержаться в них довольно долго. Крупные текстильные фабрики с их машинным темпом далеко не так типичны для эпохи начала индустриализации, как это следует из исторических трудов. Машиностроение еще долгое время вполне неспешно осуществлялось на предприятиях, напоминавших бывшие ремесленные, и даже во второй половине XIX века конкуренция не была такой острой (см. примеч. 54).

Конечно, наполеоновские войны принесли с собой много непокоя, и для Германии означали вторжение цивилизации, привыкшей к гораздо более быстрому темпу. Однако немцы, сопротивляясь ей, открыли в своей новой национальной идентичности противоположный полюс – уютность. В XVIII веке слово *gemütlich*<sup>47</sup> стало популярным поначалу в пиетистских<sup>48</sup> трудах. Немецкий квиетизм<sup>49</sup> эпохи модерна также имел свои религиозные корни в «сельской тиши». Но чтобы стать частью национальной идентичности, «уютность» должна была подвергнуться секуляризации и начать ассоциироваться с жизнерадостностью, блаженством пивопития, а также отчасти пропитаться антизападными настроениями. Возможно, Алисе Беренд небезосновательно ищет один из истоков новой «уютности» в знакомстве с опытом гильотины (см. примеч. 55). Если неспешность бытия до этого времени оставалась скрытым качеством немцев и замечалась лишь такими сторонними наблюдателями, как Жермена де Сталь, то с учетом вызовов, связанных с французской революцией и английским трудовым энтузиазмом, уютность становится осознанным национальным качеством. Причем она была не только прекрасной мечтой, но опиралась на вполне реальный фундамент немецкой непритязательности и умения существовать в собственной небольшой нише.

Возникает вопрос, как могло это свойство ужиться с героическими идеалами освободительных войн. Но и герою иногда нужен покой. В сборниках студенческих песен военные гимны прекрасно сочетались с застольными пивными песнями. В 1845 году по образу и подобию знаменитого гимна на стихи Шиллера «Вперед, вперед, товарищи, на коней» появляется песня «Рыцари уюта», первая строфа которой гласит: «И если в полуночный час компания заплутала, то благородные господа устроят достойное застолье, и где бы оно ни было и когда бы оно ни было, но благородны рыцари уюта». Лишь двумя поколениями позже между пивным застольным уютом и идеалом героизма пролегла трещина.

В 1847 году в прусском ландтаге банкир Давид Ханземан произносит фразу, ставшую крылатой: «Где появляются деньги, там кончается уют». Генрих фон Трейчке, для которого 1840-е годы были временем детства и юношества, описывал их как начало эры болезненной раздражительности: «Появилось новое поколение, вечно спешащее с места на место, от одного впечатления к другому, быстро обучаясь и быстро забывая выученное, постоянно наслаждаясь, постоянно что-то приобретая, влюбленное в самое себя и в насущное, лишенное мира

<sup>47</sup> Уютный (*нем.*).

<sup>48</sup> Пиетизм (от лат. *pietas* – благочестие) – реформаторское направление в протестантизме рубежа XVII–XVIII веков, придававшее особое значение религиозным переживаниям человека и его личному благочестию, т. е. в центре внимания оказывался субъект. Поэтому считается, что пиетизм оказал особое влияние на литературу немецкого Просвещения, где смог органически сочетаться с новой для того времени наукой психологии и концентрации модерна как макроэпохи на индивидуальности (например, «Вильгельм Мейстер» Гете и «Антон Райзер» Карла Филиппа Морица).

<sup>49</sup> Квиетизм – сложился в католичестве и требовал от человека абсолютного смирения, пассивности, подчинения божественной воле и созерцательно-мистического отношения к действительности.

и радости». Особенно женщины, по его словам, лишились «значительной доли их привычного деятельного спокойствия». Растущая непредсказуемость экономической ситуации осложнила возможность заключить брак, «так что число неудовлетворенных, больных и нервных женщин непрерывно росло». Даже собственная мать казалась Трейчке настолько «нервной» и «раздражительной», что он не чувствовал к ней сыновней любви (см. примеч. 56). Растущая нервозность контрастирует с параллельным процессом национального пробуждения, который Трейчке буквально обожествлял. Лишь через одно-два поколения, когда «первенцы» нового темпа жизни уже сами оказались поколением старшим, обнажился массовый феномен патогенных последствий ускорения. И уже многие неврастеники указывали на «нервных» родителей.

Знаменитый химик Юстус Либих уже в молодости проявлял все признаки расстройства вследствие постоянного стресса. Горя вечным нетерпением в работе, он жаловался то на одно, то на другое недомогание. Его друг Фридрих Вёлер в 1832 году дал конкретную справку о его недуге: «*Hysteria chemicorum*, причины которой – чрезмерная умственная нагрузка, честолюбие и дурной лабораторный воздух. Все великие химики страдают этим». Сам же Либих ставил себе диагноз «ипохондрия», поскольку его фантазия даже мельчайшее недомогание раздувала так, что для него «любое удовольствие отравлено, любой приятный час испорчен». О своих нервах он не говорил. Позже в «Письмах о химии» он гневно критиковал досужие рассуждения врачей о «всеохватной силе нервов». Примерно в середине века медицинский жаргон в Германии приобретает новое звучание, которое сопровождалось новым импульсом в применении естественно-научных методов. Браунизм стал постыдным воспоминанием. Такие понятия, как *Irritabilität* («раздражительность»), *Asthenie* («астения»), *Nervengeist* («нервный дух») и *nervöser Genius* («нервный гений»), исчерпали кредит доверия, даже если некоторые врачи-практики продолжали их использовать (см. примеч. 57). В то самое время, когда начался стресс индустриальной эпохи, никакого адекватного термина еще не было.

В 1840-е годы им в некотором роде стала «спинальная ирритация», которая для многих ассоциировалась с «неугомонностью эпохи». Этот пришедший из Англии медицинский концепт объяснял различные жалобы как следствия возбуждения спинного мозга. Он был основан на недавнем открытии центральной роли спинного мозга в нервной системе и соответствовал новым требованиям, согласно которым каждую болезнь нужно четко локализовать. Позже спинальная ирритация стала считаться прямой предшественницей неврастении, хотя такое происхождение было для неврастении и не слишком почетным. Дело в том, что вскоре обнаружился псевдосоматический характер этого учения, и представители строго анатомического направления выступили с «категорическим “Хватит!”». Ромберг превратил спинальную ирритацию в «призрак». Но окончательно изжить этот термин не удавалось еще несколько десятков лет – очевидно, из-за высокого практического спроса на подобное понятие.

А как же старая-добрая «нервная слабость»? Один ганноверский врач в 1845 году критиковал это понятие: нервы «слабы» только в своей неспособности «вести себя в соответствии с нормой». Но вместо этого они часто способны на совсем иное, как показывает возбудимость многих «слабонервных» людей, так что с «тем же правом» можно «допустить при этих болезненных состояниях чрезмерную силу нервной системы» (см. примеч. 58). Остается только удивляться, что уже поколением позже старое понятие «нервной слабости» успешно воскресло в виде «неврастении».

## Кто первый: Бирд или Бисмарк? Неврастения как американская или немецкая болезнь

В отличие от множества других болезней историю неврастения можно начать как сказку: «Жил-был на свете один человек...» Этим человеком был невролог из Нью-Йорка Джордж М. Бирд (1839–1883). Уже 100 лет эту историю так и рассказывают. Однако чем больше читаешь про Бирда, тем труднее составить о нем ясное представление. Он выглядит то отважным пионером с проблесками гениальной интуиции, то человеком неясным и поверхностным, бросающимся от одной мысли к другой в постоянном стремлении к успеху. Эта противоречивость заметна уже у его современников: кто-то издевался над бирдовской «неврастенией», называя ее цирком Барнума<sup>50</sup> от медицины, а кто-то, причем таких было много, хватался за новое понятие как за спасательный круг. Теория неврастения, впервые представленная Бирдом в 1869 году, сегодня кажется типичным продуктом своего времени – той турбулентной эпохи «реконструкции» после гражданской войны, когда, по словам американского историка Льюиса Мамфорда, «старая Америка» враз была уничтожена и «буквально за ночь восторжествовал» индустриальный капитализм в чистейшем своем виде. «Неврастения в самом реальном смысле стала рационализацией нового американского социального порядка. [...] Хотя в 1920-е годы неврастения зачахла, это ничуть не уменьшило ее значимость в качестве свидетельства беспокойного приспособления Америки к индустриальной эпохе» (см. примеч. 59).

Нет сомнений, общественный резонанс, вызванный «неврастенией» Бирда, был феноменом эпохи как минимум в той же мере, в какой он был событием медицины. Но именно то, что вызывает недоверие у медиков, у историка пробуждает интерес. Бирд не был ничтожеством.

Этот не особенно успешный врач не приобрел бы такой славы, если его «неврастения» была бы лишь красивым словом для банальностей. В то время даже авторитетные медики, стоявшие в академической иерархии много выше Бирда, приветствовали «неврастению» как великое открытие, как откровение. И это при том, что Бирд не мог похвастаться ни новаторскими исследованиями, ни блестящей теорией. У всемирной карьеры его «неврастения» остается одно объяснение: его понятие сумело вобрать в себя широко распространенный опыт.

Первый важный пункт в биографии Бирда – собственный опыт нервного расстройства, усугублявшийся ипохондрией. Уже в юности он был склонен к тревожному самонаблюдению и обнаруживал у себя множество симптомов, которые позже относил к неврастению, будь то шум в ушах, головная боль, нарушения пищеварения или общая слабость. В 1858 году, когда ему было 19 лет, один врач открыл ему правду о том, что он «очень нервный» и ему нужно «избегать умственной деятельности». Бирд, очевидно, не знал, что делать с таким советом. Какое-то время он искал исцеления в улучшенном питании, но затем ему стал мешать лишний вес. Преодолев юношеский кризис, он все-таки «продолжал следить за собственным телом со своеобразной вынужденной нежностью, исполненным страхом нарциссизмом, относившимся к его весу, выдержке, упитанным щекам» (Питер Гай) (см. примеч. 60).

Второй пункт в становлении Бирда – отказ от отцовской религиозности. Отец его был проповедником у конгрегационалистов<sup>51</sup>, двое его братьев тоже получили духовный сан. Юношеский кризис Бирда вырос из религиозных сомнений и метаний между страхом греха и стремлением к соблазнам. Переход от религии к медицине означал для него внутреннее освобождение.

---

<sup>50</sup> Цирк Барнума – цирк, организованный американским шоуменом своего времени – Финейсом Тейлором Барнумом (1810–1891), аналог фрик-шоу, демонстрировавший не только экзотических животных, но и людей с врожденными физическими патологиями, так называемых уродцев.

<sup>51</sup> Конгрегационализм – радикальная ветвь английского кальвинизма, утверждавшая автономию каждой общины (конгрегации), чтобы избежать бюрократии общенациональной церкви и деспотизма синодов.

ние, однако в профессию врача он привнес долю религиозного рвения. Теория неврастении сделала возможным «публичное вторжение неврологов в личные проблемы» (Эббот), т. е. Бирд открыл для неврологов ту сферу, которая для набожного человека всегда входила в сферу забот о душе. Один из первых его трудов был посвящен стимуляторам и наркотикам (1871). В нем он дистанцировался от радикального антиалкоголизма и пуританской борьбы против всего, что доставляет удовольствие. В отличие от следующего поколения лечащих неврологов он даже отстаивал укрепляющее воздействие алкоголя на организм и приводил в пример мужчину, страдавшего бронхитом, который не вынимал изо рта трубку, выпивал бутылку джина в день и тем не менее дожил до библейского возраста (см. примеч. 61). Возможно, Бирд недооценивал вред алкоголя, но он не обнаружил бы неврастению, если в своих поисках застрял бы в пуританских кампаниях против роскоши и распутства.

Третьей важной станцией на пути Бирда к неврастении был интерес к электричеству. В первой его работе «Электричество как тонизирующее средство» (1866) еще просматривается старое толкование, что суть терапии нервов заключается в укреплении ослабевшего тонуса, напряжения нервов. Это было логико-технологическим фундаментом для электротерапии. Электричество интриговало Бирда с самого детства, он испытывал его действие на собственном теле. И даже бытует мнение, будто именно благотворное действие одного из таких опытов привело его к решению стать врачом и исследователем. Какое-то время он работал вместе с Эдисоном и стал одним из самых восторженных приверженцев знаменитого изобретателя. Благодаря Эдисону электротерапия приобрела в глазах Бирда космический масштаб. В 1876 году он писал, что обнаружил жизненную силу в искрах электричества во время экспериментов Эдисона, а в 1881 году – что «электрический свет Эдисона» предлагает «лучшую иллюстрацию влияния индустриальной цивилизации на нервную систему». Потому что если к электрической цепи (человеку) подключаются «новые функции», как того требует новая цивилизация, то при постоянно сохраняющейся энергии более слабые лампочки начинают мигать или вовсе гаснут: «Это философия современной нервозности» (см. примеч. 62).

Подобные пассажи кажутся сегодня фигурами речи. Тем не менее знакомство с электротехникой помогло представлениям о нервной системе стать более реалистичными. И по сей день неврология черпает вдохновение из электротехники и электроники. Пускай в электротерапии Бирд – и, к сожалению, не только он – наделал глупостей, но электроманом все же не стал. Его книга о неврастении (1880), принесшая ему мировую известность, родилась в ситуации, когда попытка добиться славы как глашатай электричества провалилась, и Бирд вернулся к профессии врача. Его книга содержит не только идею о *Homo electricus*, но и реальный опыт. Стиль мышления Бирда кажется сегодня механистичным, но он не только видел в неврастенике подсевшую батарейку, нуждающуюся в подзарядке, но, «вероятно, был первым американским психотерапевтом» (см. примеч. 63).

Возможно, лампочка Эдисона навела Бирда на мысль о том, что проявлениям жизни в людях свойственно своего рода мерцание. Однако метафоры, которыми он описывает силу нервов, показывают, что в своей фантазии он обращался не только к динамо-машине, но и к водяной мельнице, не только к паровой тяге, но и к солнечной энергии. «Человеческий организм в некоторой мере представляет собой резервуар силы с постоянными входом и выходом; расход силы компенсируется благодаря единственному и универсальному центру – солнцу». Лишь рецензия в «Times» навела его на мысль, что вполне подходящей моделью для его теории служит динамо-машина. Бирд приводит интересный образ. Он сравнивает индейскую скво, которая «беззаботно сидит перед своим вигвамом», с мельничной плотиной на большом пруду, «в котором приток и отток воды постоянно соответствуют друг другу, и потому сила, приводящая в действие колесо, никогда не иссякает». Неврастеничка же, наоборот, напоминает мельничную плотину с малым резервуаром и быстрым стоком. Интересно, что Бирду не приходит в голову, что, по логике его рассуждений, индейская скво служит положительным примером.

Напротив, он с отвращением отвергает ее мнимую грубость, позволяющую распускать руки в общении с мужем, и хвалит нежность и чувствительность невротичной белой американки (см. примеч. 64).

Поначалу, еще в 1869 году Бирд предполагал, что неврастения может происходить от «дефосфоризации» центральной нервной системы, т. е. от расхода горючего вещества нервов; однако впоследствии он стал понимать ее как «функциональное» нарушение – как болезнь без явного органического фундамента. «Функциональным» было для него то, что «не способен увидеть» микроскоп (см. примеч. 65). Очевидно, микроскоп смог привести к более тонкому различению между органическими и функциональными болезнями. Впрочем, в бирдовском описании неврастении бросается в глаза, что в отличие от более поздних авторов он практически не пытается выделить и точно описать симптомы. Его книга предполагала, что врач видит пациента как единое целое и формирует у себя инстинктивное понимание неврастении. Примечательно, как много врачей того времени приходили к убеждению, что подобную слабость нервов можно идентифицировать как самостоятельный недуг. Не напрасно Бирд полагал, что сумел подобрать слово, озвучившее то, что инстинктивно и бессловесно уже давно витало в воздухе.

Что касается этиологии, то Бирд предварил свою «неврастению» утверждением, «что первая и важная причина неврастении кроется в современной цивилизации и сопутствующих ей условиях». Трудными для нервов были в глазах Бирда не только постоянное давление на психику со стороны современной техники и индустрии, но и «подавление эмоций», надежды и возможности, диктуемые современной свободой, а также – вспомним происхождение Бирда – протестантские секты. «Ни одна католическая страна не является столь нервной», – замечаешь это, как только переходишь границу католической Канады. Даже если согласиться, что в США современная цивилизация охватила все слои общества, Бирд полагал, что неврастению лучше всего изучать на «представителях обеспеченных классов». В этом, по Бирду, также кроется одна из причин, почему неврастению до сих пор не распознали как самостоятельную болезнь: медицинское знание доселе чересчур однобоко формировалось в одних госпиталях да в практике врачей, лечащих бедноту (см. примеч. 66).

Поскольку Бирд полагал, что какая-то часть нервозности это неизбежное следствие современной цивилизации, и верил, что нервозность передается по наследству, аккумулируясь в последующих поколениях, было бы логично, если он опасался бы дегенерации и вырождения культурных народов. Однако тон Бирда оставался оптимистичным, и декадентские страхи были ему чужды. В его работах сквозит уверенность, что в общем и целом неврастению можно свести на вполне безопасный уровень легкой нервности. Такая нервность, по его мнению, даже имеет свои плюсы: «Создается впечатление, что чрезмерная нервозность американцев действует как противоядие и превентивное средство против яда и ревматизма, а также других воспалительных заболеваний» (см. примеч. 67). Мысль о том, что феномен, считающийся болезнью, может играть в организме позитивную роль, была интересной и перспективной.

В терапии Бирд также не придерживался одной генеральной линии, но практиковал разнообразную, почти хаотичную палитру методов. С сегодняшней точки зрения многое кажется шарлатанством. Современный социолог медицины комментирует, что методы лечения Бирда – а он не брезговал даже столь опасным веществом, как стрихнин, – оправдывали мнение, что от врачей надо держаться подальше. Мюнхенский невропатолог Леопольд Лёвенфельд<sup>52</sup>, хоть и

---

<sup>52</sup> Лёвенфельд Леопольд (1847–1923) – немецкий психиатр и невропатолог, был корреспондентом и другом Фрейда. Начав с «Экспериментальных и критических исследований электротерапии головного мозга» (1881), он в научном плане продолжил развиваться в абсолютном соответствии с поворотами в эволюции психиатрической культуры: в его библиографии присутствуют и работы по нервной слабости и истерии (1887), и исследования в области сексуальной жизни и института брака (1899, 1906, 1911), и труды по гипнотизму (1901, 1904, 1922), и изыскания в области проблем взаимосвязи гениальности и искусства (1903, 1904, 1905).

использовал само понятие «неврастения», но ужасался тому, что Бирд применяет электрический ток в области гениталий. Вероятно, разнообразие методов Бирда объясняется тем, что он исходил из пожеланий самих пациентов. Как писал он в «Неврастении»: «Пациенты беспрестанно требуют помощи и таким образом вынуждают врачей искать новые средства и методы лечения» (см. примеч. 68).

Мгновенный успех бирдовской «неврастении» именно в Германии поразителен. «Новое слово, – пишет Мёбиус, – заворожило и врачей, и пациентов». Говоря точнее, слово уже было, но «хранилось в чулане». «Неврастения» была диагнозом для таких случаев, встречаясь с которыми, врачи не знали, что сказать.

В 1887 году Зигмунд Фрейд, тогда еще не известный, называл неврастению «наиболее частым заболеванием в нашем обществе». Рихард фон Крафт-Эбинг<sup>53</sup> позже вспоминал, что работа Бирда, «несмотря на весомые недостатки, появилась на медицинском небосводе как озарение», причем именно в немецкоязычном пространстве. «Повсюду обнаружилось множество описаний болезни, соответствующих его данным, – пишет Отто Дорнблют<sup>54</sup>, автор последнего крупного учебника по неврастении (1911), – как будто мир только и ждал наименования и описания этой болезни». Рядом с поговоркой «кто отдыхает, тот ржавеет» примерно в 1900 году появился стишок популярного писателя Отто Эриха Гартлебена: «Трудоголик иль бездельник – будешь точно неврастеник». Оглядываясь назад из критических 1920-х годов, Освальд Бумке, один из ведущих немецких психиатров того времени<sup>55</sup>, замечал: «Наверное, нет другого такого случая в истории медицины, когда одно лишь слово оказало такое гигантское влияние на науку и в то же время создало видимость такого множества новых заболеваний, как это сделала “неврастения”» (см. примеч. 69).

Такой успех, многим современникам показавшийся столь естественным, сегодня вызывает множество вопросов. Виртуозностью самой концепции или исследовательских трудов Бирда его, конечно, объяснить нельзя. Не имел Бирд и авторитета в науке: этот нью-йоркский доктор вообще находился вне академической иерархии и рано умер, не успев внести вклад в распространение своей теории. В его эпоху европейская наука еще служила для Нового Света наставником, смена ролей «учитель-ученик» началась тогда только в технике. Вплоть до сегодняшнего дня психиатрические термины американского происхождения остаются редкостью, неврастения была в этом смысле серьезным исключением. В Германии, наука которой в то время приближалась к вершинам своей славы, Бирд до 1880 года был практически неизвестен, его имя фигурировало лишь в электротерапии, переживавшей бум с 1850-х годов (см. примеч. 70).

Бирд, хотя и ярко выраженный американец, был очарован немецкой наукой. Он поддерживал контакты с гейдельбергским неврологом Вильгельмом Эрбом, неоднократно на него ссылаясь и писал: «Если бы мы постоянно не подпитывались от кормящей груди Германии, то и Англия, и Америка в научном смысле давно бы уже погибли с голоду». Однако в самой Германии лесть проигнорировали. Все говорит за то, что успех Бирда объясняется только соб-

---

<sup>53</sup> Крафт-Эбинг Рихард фон (1840–1902) – австрийский и немецкий психиатр, невропатолог, криминалист, автор легендарной (и по степени своего влияния на культуру действительно культовой) «Половой психопатии» – исследования сексуальных извращений и вместе с тем одного из самых больших сборников клинических историй пациентов, благодаря чему книга была известна не только в узкоспециальных кругах, но пользовалась феноменальной популярностью в самых широких читающих кругах. Среди прочего, автор самого знаменитого своего термина – «садо-мазохизм», за основу которого взял фамилии Маркиза де Сада и австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха («Венера в мехах», 1869).

<sup>54</sup> Дорнблют Отто (1860–1922) – немецкий врач и издатель «Клинического словаря» (с 1894 г.).

<sup>55</sup> Бумке Освальд (1877–1950) – немецкий психиатр и невролог, автор нескольких всемирно известных пособий по психиатрии. Вращаясь в среде культурной элиты (Бумке и сам пробовал себя в жанре афоризма), он также и психиатрию выводил в широкое поле культуры, исследуя смежные вопросы медицины и общества. В известной работе «Культура и вырождение» (1912) критиковал популярные тогда в науке и обществе идеи дегенеративности. В марте 1923 года вместе с другими зарубежными коллегами консультировал больного Ленина в Москве, где свел знакомство с Троцким и Радеком, которых назвал людьми большого формата, и Чичериным, которого назвал психопатом.

ственной срочной потребностью в новом концепте – каким и была его «неврастения». Там, где речь шла о стрессе, связанном с новым темпом экономики, у нью-йоркского врача предполагалось знание из первых рук. И в то же время «астения» пробуждала романтические ассоциации (см. примеч. 71). В 1880 году учение об астении уже нельзя было предъявить в традиционной форме, но новое его издание в бирдовском варианте казалось суперсовременным.

Немецкая медицина одарила Бирда не только признанием. Чуть ли не признаком хорошего тона стала некоторая сдержанность по отношению к американскому аутсайдеру. Однако под этой сдержанностью обнаруживается стандартная модель поведения специалистов – поначалу они дистанцировались от Бирда, затем начинали применять большую часть его теории. Отто Бинсвангер<sup>56</sup> еще в 1883 году предпочитал говорить о «неврозах истощения» и жаловался, что неврастения, «этот медицинский термин, пришедший к нам из-за моря, до сих пор внес к нам лишь сумятицу и вред». Через какое-то время тот же Бинсвангер опубликовал один из хрестоматийных трудов по неврастении и отдал дань «богатому опыту» нью-йоркского врача. Влияние Бирда ощущалось и там, где на него не ссылались, что еще больше доказывает его убедительность.

Крафт-Эбинг напомнил о том, что медицина, увлеченная победоносным шествием анатомии, порой полностью теряла из вида «болезненные явления, не определяемые анатомически». Возникший вследствие этого вакуум также объясняет успех Бирда в Германии.

С чисто научной точки зрения немцы предпочли бы учиться скорее у французов, чем у американцев. Рудольф Арндт<sup>57</sup>, немало смущенный славой Бирда, призывал вспомнить изданный еще в 1860 году труд «Nervosisme» («Нервность») детского врача Эжена Бушу, парижского профессора медицины. Эта книга и введенный ею термин появились как следствие дискуссии, которую за год до того вели в Медицинской академии. Однако книга Бушу, как вспоминает Арндт, внесла поначалу только путаницу. Хотя Бушу (как и Бирд – неврастению) дефинировал свою *nervosisme* как чисто функциональное расстройство без видимой органической основы, но добавил к описанию лихорадочные атаки и другие острые заболевания массового характера. Тем самым он вторгся на территорию клинических исследований. Кроме того, современная индустриальная цивилизация как патогенный фактор не играла для него никакой роли. Данные Бушу о том, что причины *nervosisme* обусловлены образом жизни, кратки и стереотипны, он пишет в русле критики роскоши и страстей, и его доводы с одинаковым успехом могли использоваться и в XVIII, и в XIX веке (см. примеч. 72). Отсутствие интереса к книге Бушу доказывает, насколько успех новой теории нервозности объяснялся ее связью с модерном и индустриализацией. Примерно до 1880 года немцы ассоциировали «нервозность» скорее с французами. Может быть, это мешало им признаться в собственной нервозности до тех пор, пока Бирд не превратил ее в американский недуг.

Немецкое *nervös* («нервный», «нервозный») раньше считалось заимствованием из французского, хотя пришло в XVIII веке сначала из Англии. В использовании понятия *Nervenschwäche* («нервная слабость», «слабонервность») Германия и вовсе могла бы претендовать на приоритет. Создается впечатление, что *nervosite* пришло во Францию как заимствованное немецкое *Nervosität*. Однако ни традиционная немецкая «слабонервность», ни нервозность во французском стиле в 1880 году не вошли в употребление, чтобы сформулировать и выделить опыт нового расстройства. Немецкие любители изящной словесности были знакомы с французской нервозностью по «Мадам Бовари» Гюстава Флобера (1857), автор которой и сам

<sup>56</sup> Бинсвангер Отто (1852–1929) – немецкий психиатр и невропатолог, сын основателя санатория Бельвю Людвиг Бинсвангера-ст. и дядя Людвиг Бинсвангера-мл. Был главным врачом психиатрической и неврологической клиники в берлинском Шарите, директором университетской психиатрической клиники в Йене. Среди его известных пациентов были Фр. Ницше, Г. Фаллада, И.Р. Бехер.

<sup>57</sup> Арндт Рудольф (1835–1900) – немецкий психиатр, автор первого в Германии труда по неврастении «Неврастения (нервная слабость), ее сущность, значение и лечение» (1885).

сильно жаловался на нервы. Но в этом случае слово *nervös* было лишь эвфемизмом, за которым скрывалось эротическое разочарование и скука провинциальной жизни; это было противоположностью страданиям от стресса и потока раздражителей в крупном городе. Во Франции «неврастения» Бирда также показалась новшеством. Даже столь значимая фигура, как Жан-Мартен Шарко, самый прославленный невролог своего времени, считал описание этой болезни «великолепным» и близким к реальности, хотя для него и его учения об истерии «неврастения» была потенциальным конкурентом. Его высокая оценка также показывает, что вопреки путаному разнообразию ее симптоматики неврастения казалась тогда вполне распознаваемым недугом (см. примеч. 73). То, что сегодня это не так, объясняется, в частности, изменением коллективного душевного состояния.

Представление о том, как изменилась атмосфера в Германии в 1870-е годы, дают неврологические труды, написанные непосредственно перед эпохой грюндерства<sup>58</sup>. Справочник о «Болезнях нервной системы» издания 1869 года проводит границу между органически обусловленными и функциональными расстройствами и обозначает последние как «собственно нервные болезни (неврозы)». Общий контур того, что 10 лет спустя назвали «неврастенией», здесь уже был. Справочник содержит главу об «общей повышенной чувствительности, болезненной возбудимости, раздражительной слабости, нервной слабости» – «конкретные наименования здесь не так важны». Заметно, что складывается новый комплекс симптомов, для которого пока нет удобного названия. Далее говорилось: «противоположное состояние, отупение» имеет «ничтожное практическое значение». В начале XIX века многие врачи придерживались обратного мнения. «Причины возбудимой слабости» автор не мог «привести с точностью». «При всей важности этих факторов, – заканчивается абзац, – попытка предпринять здесь специальное расследование завела бы нас слишком далеко» (см. примеч. 74). Именно в этой точке остановилось немецкое учение о нервах в 1870-е годы, а Бирд его подхватил и продолжил.

В 1881 году один пациент направился во Франкфурт-на-Майне к доктору Зигмунду Теодору Штайну – электротерапевту, находившемуся под влиянием Бирда. История его болезни приводит нас в самый центр нового мира неврастения – здесь самым наглядным образом предстают и временной контекст его расстройства, и его чисто экзогенные причины, так что в целом можно легко проследить, как усиливается его нервозность, доходя до «высочайших форм» неврастения. Речь идет о торговце 44 лет, чей предпринимательский дух включился на полную мощность благодаря обильным военным поставкам 1870–1871 годов. В этот период для него началась «столь же волнующая, сколь утомительная и ответственная деловая деятельность», конца у которой уже не было. Обогатившись за счет войны, этот человек, «с избытком обеспеченный», со всей головой окунулся в эпицентр грюндерского бума:

«Волны спекуляций захватили его со всей силой, а вскоре он, как и большинство его коллег, столкнулся с потерями 1873 года. Биржевой крах, который хотя и сотряс его материальное благополучие, но не похоронил его окончательно, положил начало его нездоровью. После того как все бурные коммерческие тревожения не повлияли на этого человека, обычно столь бодрого, жизнерадостного, крепкого и свежего, о себе дали знать потеря аппетита, нарушения пищеварения, бессонница и дурное настроение. [...] В 1877 году начали складываться более тонкие формы неврастения, в первую очередь усилились диспептические явления [...] дискомфорт в нижней части живота, ломота в спине, давящие головные боли и чувство страха» (см. примеч. 75).

<sup>58</sup> Эпоха грюндерства (от нем. *Gründer* – основатель, учредитель) – в узком смысле первые годы после образования Германской империи (1871) до экономического кризиса 1873 года, в широком – весь период индустриализации 1870–1914 годов; характеризуется активным учреждением фирм и предприятий, классическим либерализмом и буржуазной культурой.

С 1870-х годов психологические последствия технического и индустриального перелома обратили на себя внимание немецких политэкономов, и связано это было с растущим осознанием кризиса. Около 1870 года Густав фон Шмоллер, восходящая звезда немецкой политической экономии, назвал «сказкой» теорию о росте продолжительности жизни в эпоху модерна, что было совершенно несправедливо. Тем не менее, по его словам, «[ж]изнь в среднем стала короче. Работа и удовольствие стирают ее». Он полагал, что в будущем экономическая наука должна уделить особое внимание тому ущербу, который наносит психике индустриальный прогресс. В 1873 году он писал:

«Мы видим в сотни раз больше того, что видели наши деды. Горизонт расширился неизмеримо. Уезжая в отпуск, наши деды редко теряли из виду башню деревенской церкви. Теперь же ученик средней школы уже путешествует в Гарц, в Шварцвальд, в Альпы. [...] Мы действуем более решительно, более интенсивно живем, наслаждаемся и работаем. Все должно быстро идти вперед. Добродетель точности выросла, возможно, более остального. Железные дороги кажутся [...] большими национальными часами. Тому, кто хочет преуспеть в жизни, приходится отказаться от любых личных желаний, отдаться быстрому темпу, общим условиям бега на длинную дистанцию. Все должно стать быстрее. Молодое поколение все стремительнее вступает в жизнь. Лозунгом стало: Не теряй ни минуты; вся жизнь напоминает несущийся мимо скорый поезд» (см. примеч. 76).

Текст завораживает своей амбивалентностью. Он написан в кульминационный момент эпохи грюндерства, еще до великого краха, и пронизан чувством полноты и энергии. Но чувствуется, как легко эйфория может обернуться своей противоположностью и как близится общество к порогу раздражения. Учреждение Германской империи резко увеличило и усложнило немецкий мир, а железная дорога сделала этот рост заметным не только на карте, но и в повседневной жизни каждого человека. Экономический бум грюндерства привел к коллапсу, погоня за счастьем обернулась борьбой за существование. После эйфории объединения Германии немцы столкнулись с тяжелыми внутренними противоречиями, борьбой нового правящего слоя против «врагов империи», католиков-ультрамонтанов<sup>59</sup> и социалистов. Новое чувство национального превосходства было глубоко оскорблено Всемирной выставкой в Филадельфии 1876 года – там выяснилось, что немецкие товары считаются в мире «дешевыми и плохими». Новой моделью и будущим соперником стали США, и стоило только немцам покинуть свою нишу, как стало заметно, насколько слабо защищены их позиции на мировом рынке.

После биржевого краха два десятка лет царил дух кризиса. Статистика доказывает, что «Великая депрессия», начавшаяся в 1873-м и ушедшая далеко в 1890-е, – это «миф»: как свидетельствуют производственные показатели, большая часть этих лет была не более чем замедлением роста, и только коллективное состояние тревожного беспокойства превратило эту эпоху в затяжной кризис. Немецкий историк Ганс Розенберг описывает годы между 1873-м и 1896-м, т. е. время той самой якобы «Великой депрессии», как «эпоху невроза, склонного к навязчивым представлениям», когда «нервы оказались перегружены». В 1879 году один венский врач заметил, что «сегодня при каждом удобном и неудобном случае употребляют слово “нервный”». Гельпах связал оглушительный успех «неврастении» Бирда с «великим переломом» Германской империи в конце 1870-х годов: отказом от свободной торговли и либерализма, завершением культуркампа<sup>60</sup>, законом против социалистов<sup>61</sup> и первыми «грозовыми вспо-

---

<sup>59</sup> Идеология ультрамонтанства выступала за жесткое подчинение национальных католических церквей папе Римскому.

<sup>60</sup> Культуркампф (нем. *Kulturkampf* – борьба за культуру) – конфликт между Германской империей и Римско-католической церковью. Бисмарк опасался партикуляристских устремлений католического духовенства, Пия IX смущало первенство протестантской Пруссии.

лохами» антисемитизма. Либеральный индустриализм пережил что-то вроде «нервного коллапса», и как раз около 1880 года нервная эпоха ощутила потребность «увидеть себя, так сказать, в зеркале». Переход к покровительственной пошлине продемонстрировал мощь нового союза между аграриями и тяжелой индустрией, но верх взяла общая перемена атмосферы: нарастающее ощущение, что для спасения немецкого уюта необходимо будет сооружать защитные валы против безудержной конкурентной борьбы. Бисмарк в 1880 году назвал эру свободной торговли временем «болезни», а закон о протекционистской пошлине – «курсом лечения» (см. примеч. 77).

В те же годы Бисмарк приобрел и сугубо личный опыт болезни и восстановления. В 1870-е годы из-за ненасытности в еде и питье он превратился в огромного толстяка весом больше 125 кг, чье раздувшееся тело и одутловатое лицо с тяжелыми мешками под глазами и невралгическим тиком казались живым воплощением всевозможных болезней эпохи грюндерства. Бездна, разверзшаяся между ним и традиционными прусскими консерваторами вследствие культуркампа, тяжелым грузом легла ему на душу, поскольку означала для него отрыв от эмоциональной родины. Пароходы, привозившие из-за Атлантики дешевое американское зерно, заставили аграриев, привычных к относительно спокойной жизни, вести типичную для эпохи борьбу за существование. В 1878 году Бисмарк заболел опоясывающим лишаем и, видимо, не без оснований воспринял его как психосоматическое заболевание, как «расплату за нервное истощение», которое именно в то время усугубилось колкими насмешками газеты «Reichsglocke»<sup>62</sup> над отношениями Бисмарка с еврейским банкиром Блейхрöderом. Канцлер полагал, что с его здоровьем «покончено»: «Здоровье мое потерпело парализовавшее меня банкротство». Он боялся уподобиться презируемому им Фридриху Вильгельму IV, и его преследовал страх перед «размягчением мозга». Врачи подозревали рак печени и желудка. Бисмарк задумался об отставке. Но затем за крупным политическим переворотом – возвращением к консерваторам – он совершил не менее важный переворот в своем образе жизни, что вернуло ему уже позабытое «ощущение здоровья». Героем этого переворота был вылечивший Бисмарка врач Эрнст Швенингер со своими методами натуропатии (вскоре распространился глагол «швенингерить»), и освобождение от страха перед безумием и смертью привело канцлера к мысли, что все его страдания были следствием противоестественного образа жизни и «нервного кризиса» (см. примеч. 78).

Или мысль эта была плодом его желаний? Ведь «нервы» не были для него новой темой. В дневниках Людвига Бамбергера<sup>63</sup> «нервы» встречаются уже в 1870-м как слово, типичное для словаря Бисмарка. С 1860-х годов Бисмарк любил повторять, что изнуряющая жизнь выматывает его нервы. Широко известен припадок судорог, случившийся с ним в 1866 году в Никольсбурге, когда он потребовал немедленного заключения мира с Австрией и при этом так яростно поспорил со своим королем, что несколько месяцев проболел. «Шторм разрядился его нервами», – писал об этом австрийский историк Генрих Фридьонг. Однако война 1870–1871 годов для нервов Бисмарка прошла прекрасно и «унесла с собою все недуги».

В тяжелом психосоматическом кризисе, последовавшем затем, Бисмарк говорил, что проблемы с нервами у него начались с «беспутной» студенческой жизни. Около 1880 года он, как записала баронесса Шпитцемберг, «сильно мучился от лицевых болей, мешавших ему говорить, есть и ужасно его раздражавших». В 1882 году Швенингер, впервые посетив Бисмарка, нашел его «взволнованным и в то же время апатичным, измученным лицевыми болями и мигренями, страдающим от бессонницы и отсутствия аппетита, бледным, с резкими

<sup>61</sup> Исключительный закон против социалистов (*Sozialistengesetz*) запрещал деятельность социалистических и социал-демократических организаций в Германской империи вне рейхстага и ландтагов.

<sup>62</sup> Имперский колокол (*нем.*).

<sup>63</sup> Бамбергер Людвиг (1823–1899) – немецкий банкир и политик, соучредитель одного из крупнейших банков Германии («Дойче Банк»), считается «отцом» немецкой марки.

коликами в желудке и нарушениями пищеварения». Однако кроме камня в желчном пузыре он не нашел никаких серьезных органических нарушений, только «целый ряд нервных и функциональных» расстройств и прописал своему высокопоставленному пациенту строгую диету, которая определяла не только пищу и напитки, но и весь распорядок дня. Когда однажды, пользуясь недолгой отлучкой Швенингера, Бисмарк съел «два фунта [...] сырокопченой колбасы заодно с гусем» и «тройную порцию» пахты, после чего тяжело страдал от возмущения в нижней части живота, он истолковал эти мучения как наказание за ослушание. Позже он с одобрением рассказывал, что Швенингер убрал у него «из-под носа» все прописанные предыдущими врачами пузырьки и вернул его к жизни «возвращением к природе» (см. примеч. 79).

Понятие «неврастения» Швенингер, видимо, не употреблял, да и вообще, его кредо состояло в том, что болезней нет, а есть только больные люди. Может, недомогание Бисмарка прослыло неврастением в самом обществе, поспособствовав тенденции обнаруживать это «почетное» заболевание у себя и у других? Действительно, особенно после 1918 года, в атмосфере утраченного уважения, когда культ Бисмарка пережил своего рода демократизацию, даже его почитатели считали Бисмарка неврастеником. Это было сходно с тем, как сухорукость Вильгельма II использовалась для того, чтобы вызвать сочувствие к свергнутому кайзеру. В 1921 году санитарный советник из Мёнхенгладбаха писал, что у Бисмарка была «неврастения истощения» и что история его болезни могла бы внести лепту в «науку по вопросу неврастении». Дело в том, что неврастения – «это болезнь духовного лидера, а не того, кто занимается физическим трудом». Немецкий писатель, автор биографии Бисмарка, Эмиль Людвиг описывал нервозность Бисмарка с элементами анималистики: «Насколько схожа твоя натура с природой догов, которых ты так любил: сильных и нервных. [...] Таким же мощным, нервным и опасным, как его дог, был и сам Бисмарк». Бисмарк сам рассказывал, как во время судороги его дог Султан клал ему лапу на грудь и успокаивал его своим сочувствием (см. примеч. 80). Психолог Эрнст Кречмер описывал канцлера по вполне неврастенической модели, хотя концепт неврастении не входил в типологию Кречмера. По его заверению, Бисмарк верно подметил: «Я весь одни нервы, и единственной задачей моей жизни стало самообладание». «Да, это подлинный образ Бисмарка: осанистая фигура богатыря с мозгом неврастеника [...], гений, силу воли которого все время прищипывает нервная слабость». Только унаследованные им от матери нервы сделали его тем, кем он стал.

О «нервных» чертах Бисмарка знали еще на рубеже веков, тем более что он и сам недвусмысленно указал на это в своих мемуарах. Для историка и публициста Генриха Фридьонга Бисмарк был «самым гордым и самым раздражительным человеком». Один английский почитатель канцлера в 1912 году упоминает его «нервную» раздражительность как общеизвестный факт. В 1914 году бисмаркианец и пангерманец Пауль Лиман<sup>64</sup> цитирует фразу Бисмарка о борьбе с соперниками при дворе: «Эта борьба стоила мне нервов, жизненной силы» (см. примеч. 81). Однако Бисмарк, безусловно, не был неврастеником а-ля Вильгельм II, он был воплощением иного типа: который не стремился все время бороться со своим беспокойством и снимать его за счет суетливых движений, но применял его целенаправленно и концентрированно. Его натура защищалась от перенапряжения периодическими психосоматическими нервными срывами. В конце концов ему, видимо, удалось овладеть своими нервами – благодаря долгому, не на один месяц уединению в померанском поместье Варцин или Саксонском лесу. В старости Бисмарк, превратившийся уже в икону, стал для почитателей своего рода монументом нервозности – приобретенной в битвах, жаждущей новых боев и постоянного преодоления. Этот образ служил идеальным идентификатором «нервной эпохи», но тем болезненнее выглядит на его фоне непреодолимое и нерешительное беспокойство тех, кто пришел после него.

<sup>64</sup> Лиман Пауль (1860–1916) – писатель и публицист, так называемый клакер Бисмарка, автор многочисленных книг и статей о Бисмарке, влиявших на его образ в обществе.

## **От слабости к возбудимости: метаморфозы и константы неврастении**

Значение слова «неврастения» объясняет ее как состояние слабости. В том же духе ее определял и Бирд. Когда Зигмунд Фрейд в 1880-х годах пытался победить кокаином то, что диагностировал у себя как неврастению, то и он тогда имел в виду состояние вялости, нуждающееся в стимуляторах. Многие невротики, приходя к врачу, демонстрировали слабость. Швейцарский невропатолог Поль Шарль Дюбуа сообщает, что некоторые неврастеники «во время консультации полностью съезжали с кресла и растягивались на полу».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.